

СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ

№

Спец

ISSN 0132-1366

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК



СЛАВЯНО ·
· ВЕДЕНИЕ



2001



«НАУКА»

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

Институт славяноведения

Славяноведение

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1965 г.

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД



2001

СЕНТЯБРЬ ●

ОКТАБРЬ ●

Содержание

СТАТЬИ

<i>Борисёнок Е.Ю.</i> (Москва). Проблема украинизации во второй половине 1920-х годов и Л.М. Каганович	3
<i>Беккер Р.</i> (Торунь). Между революционным консерватизмом и тоталитаризмом. Дилеммы оценки межвоенного евразийства	14
<i>Парадовский Р.</i> (Торунь). Методологические и метафизические проблемы евразийской культурологии	28
<i>Марьина В.В.</i> (Москва). Чехословакия: от многонационального к двунациональному государству. 1944–1948 годы	39

СООБЩЕНИЯ

<i>Стыкалин А.С.</i> (Москва). Русские и поляки: стереотипы взаимного восприятия (Сборник статей "Поляки и русские в глазах друг друга")	60
<i>Серационова Е.П.</i> (Москва). Карел Крамарж о федерализме и проблемах будущего государственного устройства России	77
<i>Аксенова Е.П.</i> (Москва). Славянофил А.А. Башмаков о кризисе славянской идеи	83
<i>Стыкалин А.С.</i> (Москва). Национальный вопрос и национальные меньшинства в Восточной Европе. 1944–1948 годы (Материалы Круглого стола)	90
<i>Карцева З.И.</i> (Москва). "Новое прочтение" истории национальной литературы	106

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

<i>Горяинов А.Н.</i> С.И. Михальченко. Юридический факультет Варшавского университета, 1869–1917 гг. Краткий исторический очерк. Е. Ляцкий. Материалы к биографии / Подготовка текстов и публикация С.И. Михальченко	112
<i>Марьина В.В.</i> U. Altermatt. Das Fanal von Sarajevo. Ethnonationalismus in Europa	115
<i>Мечковская Н.Б.</i> Język a tożsamość na pograniczu kultur	118

<i>Горизонтов Л.Е.</i> Юбилей Виктории Сливовской	123
Новые издания Института славяноведения РАН	126

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

В.К. ВОЛКОВ (главный редактор),
М.А. ВАСИЛЬЕВ, Г.К. ВЕНЕДИКТОВ, Р.П. ГРИШИНА,
В.И. КОСИК, Г.Ф. МАТВЕЕВ, В.В. МОЧАЛОВА,
С.В. НИКОЛЬСКИЙ, В.Я. ПЕТРУХИН,
М.А. РОБИНСОН (зам. главного редактора),
Л.А. СОФРОНОВА, Б.Н. ФЛОРЯ, В.А. ХОРЕВ,
Т.В. ЦИВЬЯН

Ответственный секретарь
А.В. Болдов

Заведующие отделами: *Адельгейм И.Е.* (отдел литературоведения),
Белова О.В. (отдел культурологии), *Валенцова М.М.* (отдел лингвистики),
Васильев М.А. (отдел истории)

Зав. редакцией *И.И. Бизяева*

Сотрудники редакции: *Авакова Л.А., Веслова И.Ю., Кошкина Е.А.*

Адрес редакции: 117334, Москва, Ленинский пр-т, 32а. Телефон 938-01-20
E-mail: vasilyev@FL09.tower.ras.ru



© 2001 г. Е.Ю. БОРИСЕНОК

ПРОБЛЕМА УКРАИНИЗАЦИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ
1920-х ГОДОВ И Л.М. КАГАНОВИЧ¹

Национальный вопрос являлся одной из самых актуальных сторон политической жизни советского общества в 1920-е годы. Провозглашенный в 1923 г. на XII съезде РКП(б) курс на коренизацию партийного и советского аппаратов в союзных республиках стал не только отражением сложных взаимоотношений центра и республик, но и существенным образом повлиял на атмосферу как внутрипартийной, так и общественной жизни вообще. Ярким примером тому может служить процесс коренизации на Украине, или украинизация. Суть его составляли увеличение представительства украинцев в общественно-политических и культурных институтах УССР и расширение сферы использования украинского языка (выдвижение местных национальных кадров на руководящие должности в партийные и государственные органы, перевод на украинский язык учебных заведений, научных и культурно-просветительных учреждений, дело- и судопроизводства, печатных изданий и т.п.).

Украинизация 1920-х годов занимает одно из важных мест в концепции национальной истории Украины и привлекает все большее внимание современных украинских исследователей (см.: [1]); в отечественной же историографии данная проблема пока не нашла достаточного освещения. Украинские ученые делают основной акцент на соотношении процессов национально-культурного возрождения Украины в 1920-е годы (зачастую игнорируя тот факт, что данный процесс нередко шел за счет вытеснения русской) и большевистской украинизации. При этом последняя изображается вынужденной мерой, принятой как под давлением возросшего национального самосознания украинского общества, так и сепаратистских устремлений республиканских властей (см.: [2]). Между тем остается в тени другая существенная сторона процесса: взаимовлияние внутрипартийной борьбы в Москве и политического климата на Украине, влияние борьбы с оппозицией в центре на характер коренизации в УССР. Особый интерес являет собой период 1925–1928 гг., когда КП(б)У возглавлял рьяный "украинизатор" Лазарь Моисеевич Каганович. Несомненный интерес с точки зрения внутрипартийной борьбы в центре и в республике представляют взаимоотношения главы украинских коммунистов с идеологами украинизации, прежде всего наркомом просвещения А.Я. Шумским, так как именно в этот период отчетливо проявилась тенденция увязывания "националистических уклонов" на местах с "антипартийной оппозицией" в Москве. Анализируя политическую борьбу в среде высшего большевистского партийного руководства, мы в статье не затрагиваем национально-

Борисенок Елена Юрьевна – канд. ист. наук, научный сотрудник Института славяноведения РАН.

¹ Статья подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда. Грант № 98-01-00366.

культурную деятельность тогда еще сравнительно малочисленной группы украинской интеллигенции во главе с М.Н. Грушевским.

После XII съезда РКП(б), объявившего о необходимости коренизации, 23 мая 1923 г. на заседании политбюро ЦК КП(б)У был рассмотрен вопрос об украинизации, подведены некоторые итоги и намечены основные ее направления, принят ряд постановлений. Однако первый секретарь КП(б)У Э.И. Квиринг, поглощенный внутрипартийной борьбой в Москве, уделял украинизации мало внимания. Поддерживая "тройку" (Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, И.В. Сталин) в ее борьбе с Л.Д. Троцким, он активно помогал И.В. Сталину в устранении одного из главных украинских троцкистов – Х.Г. Раковского.

Между тем расстановка сил в Москве постепенно изменилась: уже в начале 1925 г. проявилось противостояние Сталина с Зиновьевым и Каменевым по ключевым вопросам политической стратегии партии. "Новая оппозиция" Зиновьева и Каменева пыталась изменить ситуацию внутри партии в свою пользу. Была сделана попытка разыграть старую карту: использовать первого секретаря КП(б)У (с марта 1925 г. – генерального секретаря ЦК КП(б)У. – Е.Б.) в борьбе с генеральным секретарем РКП(б).

Первая прикидка состоялась, по-видимому, еще в январе 1925 г. Квиринг, прибывший вместе с другими украинскими коммунистами в Москву на пленум ЦК РКП(б), был приглашен Зиновьевым к нему на совещание. На этом совещании речь шла о смещении Сталина с поста генерального секретаря. "Тов. Квиринг об этом совещании и о том, что там обсуждалось, нам никому ничего не сказал", – оправдывались позже украинские делегаты [3. Ед. хр. 108. Л. 111]. Однако сторонники Сталина сработали оперативно – о совещании им стало известно уже на второй день. Квиринг же о своей договоренности с Зиновьевым и Каменевым молчал до тех пор, пока это было возможно. После "питерских событий" весны 1925 г., когда Зиновьев сделал попытку противопоставить центральному органу ЦК РКП(б) журналу "Большевик" собственный теоретический орган, украинские коммунисты собрались на совещание, чтобы "выразить свое отношение к происшедшим событиям". И только там, "и то не подробно", Квиринг изложил "информацию об упомянутом совещании у т. Зиновьева" [3. Ед. хр. 108. Л. 112]. На состоявшемся в апреле пленуме ЦК КП(б)У говорилось, что эта история вызвала недоверие к Квирингу; созывается заседание политбюро, на котором был поставлен вопрос о "необходимости ухода тов. Квиринга с поста генерального секретаря", с чем тот "вполне согласился" [3. Ед. хр. 108. Л. 113].

В своих "Памятных записках" Л.М. Каганович так описывает дальнейшие события: "Осложнение и обострение борьбы с троцкистско-оппозиционными течениями в связи с новыми проявлениями антиленинской оппозиционности со стороны Зиновьева и Каменева и так называемой ленинградской оппозиции, обострение явлений националистических уклонов и местных группировок... потребовали улучшения и укрепления руководства самого ЦК КП(б) Украины, которое на новом этапе обнаружило известные слабости" [4. С. 373]. В Москве состоялось совещание, в котором участвовали представители политбюро ЦК КП(б)У. Кандидатом на пост нового генерального секретаря ЦК КП(б)У был выдвинут секретарь ЦК РКП(б) В.М. Молотов, а после его отказа – Л.М. Каганович. "Я заявил, что согласен поехать на Украину, тем более что я вырос как большевик и работал в подполье на Украине, но не уверен, справлюсь ли с такой большой работой. Мои сомнения не нашли поддержки. В частности, товарищ Сталин доказывал их несостоятельность, а представители ЦК Украины обещали мне всяческую поддержку", – вспоминал позже Каганович [4. С. 373]. Таким образом, смена руководства украинской парторганизации была напрямую связана с борьбой против оппозиции в центре.

В Харьков, который был в то время столицей Украины, Каганович приехал в апреле 1925 г., к пленуму ЦК и ЦКК КП(б)У, на котором и был избран генеральным секретарем украинской компартии.

Вступив в должность, он рьяно приступил к "искоренению" оппозиции в респуб-

лике. Уже в июле 1925 г. на пленуме ЦК КП(б)У были затронуты проблемы существования партии, обсуждались вопросы "продолжающейся фракционной оппозиционной работы старых и вновь возрождаемых групп оппозиционеров и усиления более глубокой, идейно-принципиальной и организационной борьбы с ними; вопросы улучшения руководства парторганизациями со стороны ЦК" [4. С. 376–377]. Это было особо необходимо накануне перевыборов партийных органов и подготовке к IX съезду КП(б)У, который должен был состояться в декабре 1925 г.

Для Кагановича было важно расширить ряды последовательных сторонников Сталина. Украинский ЦК организовал "выезд членов Политбюро ЦК КП(б)У на места". Сам Лазарь Моисеевич посетил те города, которые требовали постоянного контроля – Киев, Донецк и Екатеринослав. Поездки предпринимались с целью "улучшения и укрепления общегосударственной и общепартийной дисциплины в направлении выполнения общепартийных и общегосударственных решений ЦК партии и Советского правительства" [4. С. 375]. Каганович с гордостью подчеркивал, что все окружные и крупные районные конференции, состоявшиеся в конце 1925 г., "одобрили работу ЦК КП(б)У и особенно политику и деятельность ЦК РКП(б)". IX съезд КП(б)У также полностью одобрил "политическую и организационную линию ЦК РКП(б)" и "решительно осудил оппозиционные атаки на проводника ленинской линии – ЦК нашей партии" [4. С. 378]. Сделано это было в основном при помощи жесткого административного нажима – "оппозиционеры" жаловались на "давление", "зажим" и "травлю" со стороны ЦК [3. Ед. хр. 127. Л. 3].

За недовольными зорко следили органы госбезопасности. Так, 8 января 1926 г. председатель ГПУ Украины В. Балицкий сообщал "всем членам политбюро ЦК КП(б)У" и лично Л.М. Кагановичу о настроениях в одесской парторганизации. Начальник одесского окружного отдела ГПУ доносил Балицкому о том, что "после XV-й партконференции (должно быть – XIV. – Е.Б.)² в отдельных ячейках Свердловского района принимаются оппозиционные резолюции, имеются случаи значительного числа голосовавших против и воздержавшихся. На некоторых собраниях ячеек Свердловского района также создавалось впечатление, что оппозиционерами руководит какая-то группа" [3. Ед. хр. 127. Л. 1]. Распространялись листовки "группы членов ВКП и ЛКСМ, стоящих на платформе т. Троцкого". Листовки имели целью "отмести от оппозиции те обвинения, которые предъявлены... ЦК и не находятся в прямой связи с сущностью вопросов разногласия. Сюда относятся: нарушение партдисциплины в системе проведения взглядов оппозиции, отход от ленинизма и меньшевистский уклон" [3. Ед. хр. 127. Л. 2]. По подобным "сигналам" принимались оперативные решения, что дало возможность Кагановичу в своих "Памятных записках" констатировать: "Борясь с неотроцкистами-зиновьевцами, которые в период между XIV конференцией и XIV съездом партии откатывались на антиленинские, троцкистские позиции, партия решительно отклонила троцкистско-зиновьевские позиции. В первых рядах борцов с ними была закалявшаяся ленинская парторганизация Украины" [4. С. 375].

В условиях упорной борьбы со сторонниками Зиновьева и Каменева, Каганович не мог не думать о выдвижении новых кадров, всецело ему преданных. Уже на IX съезде КП(б)У (6–12 декабря 1925 г.) в состав ЦК вошли "новые товарищи", среди которых были "выдающиеся рабочие-большевики". Для такого рода выдвиженцев украинизация открывала широкие возможности.

С первых же дней своего пребывания в должности главы украинских коммунистов Каганович решительно взялся за проведение украинизации. 30 апреля 1925 г. было принято постановление ЦИК и СНК УССР, определявшее подходы к срочному проведению полной украинизации советского аппарата. Отмечая неблагоприятное отношение части сотрудников советских учреждений к выполнению задач украинизации

² XV конференция состоялась 26 октября – 3 ноября 1926 г., так что в тексте должно быть – XIV (апрель 1925 г.); на ней произошло фронтальное столкновение Г.Е. Зиновьева и Л.Б. Каменева с И.В. Сталиным.

ции, ЦИК и СНК требовали от всех государственных учреждений и государственных торгово-промышленных предприятий перейти на украинский язык в делопроизводстве не позднее 1 января 1926 г. Кроме того, речь шла об увеличении тиражей учебных изданий и художественной литературы на украинском языке. На рабоче-крестьянскую инспекцию возлагалась обязанность проведения периодических проверок украинизации советского аппарата. Этим же постановлением учреждалась Центральная всеукраинская комиссия по руководству украинизацией [5. С. 124–128].

Признавать объективную неизбежность победы "прогрессивной пролетарской" (т.е. русской) культуры над "отсталой крестьянской" (т.е. украинской) культурой, как то было сделано двумя годами ранее секретарем ЦК КП(б)У Д.З. Лебедем, теперь было уже небезопасно. В 1925 г. Лебедь без колебаний защищал лозунги XII съезда РКП(б). В письме Кагановичу от 5 июня 1925 г. он писал: "То, что Вы уже начали проводить украинизацию, в этом меня убеждает первое заседание комиссии по украинизации. Все таки надо иметь в виду, что сопротивление со стороны аппаратов центральных ведомств будет оказано основательное", "нам, очевидно, придется по проверке выделить несколько наиболее злостных случаев бюрократизма, волокиты, сопротивления и использовать для специального какого-нибудь судебного или иного процесса, чтобы тем самым взять тон в деле украинизации" [3. Ед. хр. 120. Л. 4–5].

Действительно, атмосфера (во всяком случае в Харькове), видимо, была отнюдь не в пользу украинизации (что проявляется и сегодня), если необходимо было использовать показательные процессы для устрашения сопротивляющихся госслужащих. На отношение к украинскому языку влияли и воспоминания о недавних событиях Гражданской войны, боях с "украинскими правительствами", и не до конца еще угасшая вера в "мировую революцию" с ее интернационалистскими лозунгами. Создавать "общественную атмосферу" в городах Лебедь предлагал путем использования таких "мелочей", как объявления, вывески, указатели в государственных ведомствах, учреждениях и частных организациях. Таким образом, то, что ранее называлось "петлюровщиной", теперь считалось вполне приемлемым и необходимым: "Петлюра украинизацию начал с вывесок и плакатов, то теперь, по-моему, это не более не менее как средство, облегчающее создание положительной и общественной атмосферы вокруг дела украинизации" [3. Ед. хр. 120. Л. 5].

Между тем по данному вопросу "далеко не было единодушия" [4. С. 373]. Несомненную опору украинизации составляли влившиеся в 1920 г. в состав КП(б)У украинские эсеры, требовавшие "национального самоопределения (социалистического) Украины". Тенденция использовать в своих интересах национальные убеждения бывших боротьбистов была присуща верхушке КП(б)У уже в начале 1920-х годов (достаточно вспомнить главу Наркомпроса в 1920–1923 гг. Г.Ф. Гринько). Однако такая политика нередко создавала для высшего республиканского руководства серьезные трудности. В 1924–1927 гг. наркомом просвещения УССР являлся А.Я. Шумский, бывший до вступления в ряды КП(б)У одним из лидеров левого течения УПСР. Активный сторонник украинизации, Шумский был недоволен ее темпами. Он считал, что генеральный секретарь КП(б)У уделяет этому вопросу незаслуженно мало внимания, придает украинизации формальный характер. Шумский считал необходимым заменить главу украинских коммунистов, назначив вместо Л.М. Кагановича В.Я. Чубаря, и обратился с этим предложением к И.В. Сталину.

Сталин решил сыграть роль "третейского судьи" и направил 26 апреля 1926 г. письмо "Кагановичу и другим членам политбюро ЦК КП(б)У". Московскому генсеку не было резона тасовать политбюро, в роли главы украинской парторганизации ему был необходим именно преданный Каганович. Это обстоятельство сыграло решающую роль в судьбе Шумского. Сталин подверг резкой критике его позицию, содержащую требование украинизировать пролетариат. "Нельзя заставить русские рабочие массы отказаться от русского языка и русской культуры и признать своей культурой и своим языком – украинский, – писал Сталин. – Это противоречит принципу

свободного развития национальностей" [6. С. 149–154]³. В этом же письме было указано на "теневые стороны" "нового движения на Украине за украинскую культуру и общественность": «Тов. Шумский не видит, что при слабости коренных коммунистических кадров на Украине это движение, возглавляемое сплошь и рядом некоммунистической интеллигенцией, может принять местами характер борьбы за отчужденность украинской культуры и общественности от культуры и общественности общесоветской, характер борьбы против "Москвы" вообще, против русских вообще, против русской культуры и ее высшего достижения – против ленинизма» [3. Ед. хр. 135. Л. 2].

Заслуживает особого внимания сталинская оценка ситуации на Украине как состояние "все более и более реальной" опасности [3. Ед. хр. 135. Л. 3]. Сталин предупреждал Кагановича и членов украинского политбюро, что увлекаться украинизацией нельзя и что она должна носить прежде всего большевистский, советский характер. "Прав т. Шумский, утверждая, что руководящая верхушка на Украине... должна стать украинской. Но он ошибается в темпе. ...Он забывает, что чисто украинских кадров не хватает пока для этого дела" [3. Ед. хр. 135. Л. 3].

Говоря об опасности, Сталин имел в виду прежде всего творчество украинского писателя Н. Хвывелевого, выдвинувшего лозунг "Геть від Москви" и считавшего, что "от русской литературы, от ее стиля украинская поэзия должна убежать как можно скорее". Приговор Шумскому и Хвывелевому был вынесен Сталиным окончательно и бесповоротно. "Тов. Шумский не понимает, – писал он, – что овладеть новым движением на Украине за украинскую культуру возможно лишь борясь с крайностями тов. Хвывелевого в рядах коммунистов. Тов. Шумский не понимает, что только в борьбе с такими крайностями можно превратить поднимающуюся украинскую культуру и украинскую общественность в культуру и общественность *советскую*" [3. Ед. хр. 135. Л. 3–4].

Украинские коммунисты составили ответ генеральному секретарю ЦК ВКП(б). Они писали: "...нельзя отрицать... того, что несмотря на несомненный перелом в отношении широких партийных масс к украинизации, – мы еще далеко не изжили здесь настроений инерции и косности, в значительной мере связанных с остатками антагонизмов периода острой Гражданской войны, принимавшей в отдельных случаях, в силу специфических особенностей Украины, национальную окраску" [3. Ед. хр. 135. Л. 8]. "Инерция" и "косность" Шумского выражались в том, как "понимать украинскую культуру". Шумский "солидаризировался" в этом вопросе с Хвывелевым (впоследствии, когда разгорелась борьба с "хвывелевизмом" и "национал-уклонизмом", эти фамилии очень часто соседствовали). Члены политбюро ЦК КП(б)У прекрасно отдавали себе отчет в возможных последствиях "ошибок Шумского". В условиях ожесточенной внутривнутрипартийной борьбы в центре, опасаясь обвинения в создании очередного "уклона" или "оппозиции", они решительно отмежевывались от эсеровского прошлого наркома просвещения: "...Наше расхождение с т. Шумским по вопросу о вовлечении украинских работников заключается в том, что тов. Шумский и его единомышленники часто склонны понимать под украинскими работниками только украинцев по национальности и то не всех, а фактически – людей, имеющих стаж пребывания в национал-социалистических партиях в прошлом, да и то лишь в том случае, если эти люди разделяют... ошибки тов. Шумского..." [3. Ед. хр. 135. Л. 9–10].

Шумский счел необходимым разъяснить свою позицию на состоявшемся 15 мая, через три недели после появления упомянутого письма, заседании политбюро ЦК КП(б)У. Отстаивая свою точку зрения на необходимость "углубления украинизации", нарком просвещения коснулся главным образом трех моментов: положение украинцев в компартии, вопрос об украинизации пролетариата и творчество Хвывелевого. "...У нас был недавно съезд партии, и там никто даже не говорил на украинском

³ Цитируется по [3. Ед. хр. 135. Л. 2].

языке", – возмущался Шумский. "А почему они не выступали? – задавал он вопрос и тут же отвечал на него, – Потому, что они в партии забиты, загнаны и составляют меньшинство даже арифметическое, не говоря уже о влиянии. Потому, что в партии господствует русский коммунист, с подозрительностью и недружелюбием, чтобы не сказать крепче, относящийся к коммунисту-украинцу" [3. Ед. хр. 135. Л. 22–23]. Горячность Шумского не могла не вызвать негодования его коллег по партийной верхушке, большинство из которых были русскими по происхождению или пользовались в быту исключительно русским языком. Причем последним досталось особенно. "Господствует, – продолжал Шумский, – опираясь на презренный, шкурнический тип малоросса, который во все исторические эпохи был одинаково беспринципно-лицемерен, рабски двоедушен и предательски подхалимен. Он сейчас щеголяет своим лже-интернационализмом, бравивирует своим безразличным отношением ко всему украинскому и готов всегда оплевать его (может, иногда и по-украински), если это дает возможность выслужиться и получить теплое местечко". Основной вывод Шумского таков: "Наша партия должна стать украинской по языку и по культуре" [3. Ед. хр. 135. Л. 23]. Возмущение оратора вызвало и отношение украинских большевиков к коммунистам – выходцам из других партий. Может ли "этот бывший боротьбист когда-нибудь избавиться от этого своего рода волчьего билета, каким является в настоящем его пребывание в прошлом в рядах украинской компартии (имеется в виду Украинская коммунистическая партия (боротьбистов). – Е.Б.), и что нужно для того, чтобы это – его революционное прошлое – не являлось какой-то каиновой печатью, мешающей ему быть полноправным гражданином в партии" [3. Ед. хр. 135. Л. 26].

В ответ на это заявление Шумского Каганович признал, что «отдельные факты в отношении затирания "бывших" имеются, этого оспаривать нельзя. Партия с этими извращениями борется и будет бороться, но нельзя, как это делает тов. Шумский, доказывать, будто это у нас такая общая система в партии» [3. Ед. хр. 113. Л. 20].

Невзирая на критику Сталина, Шумский продолжал отстаивать необходимость украинизации пролетариата. "...У нас получается смылка интеллигенции с крестьянскими массами, а не пролетариата с крестьянством", – негодовал он, прекрасно отдавая себе отчет в том, какое положение может занять украинская интеллигенция благодаря проводимой компартией кампании по коренизации. "...В силу отсутствия у нас руководства общественно-культурным процессом интеллигенция начинает реставрировать утраченные в 1919 и 1920 гг. связи и влияние", – вот чего опасался нарком просвещения. Выход из создавшейся ситуации он видел в приобщении пролетариата к украинскому языку и культуре: "Имея полную возможность обеспечивать свои культурные запросы по-русски, русские рабочие должны в то же время принимать активное участие и в украинском общественно-культурном строительстве" [3. Ед. хр. 135. Л. 21].

Что же касается Н. Хвылевого, то "нельзя же, говоря о Хвылевом, написавшем целые трактаты по вопросам литературы и искусства, выхватывать один отрывок из его произведений, одну лишь часть и по ней судить". «Чем иначе объяснить, как не юношеским задором, такую логику, как "Росія самостійна? Самостійна. Ну, так і Україна самостійна»» [3. Ед. хр. 135. Л. 21]. В позиции Хвылевого отчетливо слышатся отголоски недавней дискуссии о роли национальных республик в Союзе ССР, когда многие украинские коммунисты отстаивали большую самостоятельность Украины. Сепаратистские устремления ряда украинских партийных лидеров вызывали серьезную озабоченность Москвы. Еще свежи были воспоминания о "конфедерализме" Раковского. Думается, высказывания Шумского в защиту Хвылевого принесли обоим больше вреда, нежели пользы. Каганович не мог не насторожиться, памятуя о жесткой позиции Сталина, стремившегося не допустить расширения полномочий республиканских органов власти.

Ю.Ш. Шаповал справедливо отмечает, что именно письмо Сталина послужило толчком к развертыванию Кагановичем кампании против "национал-уклонизма"

[7. С. 69], причем Шумский выставлялся главой целой "опасной группы". Каганович вспоминал: "В процессе борьбы со взглядами Хвyleвoгo... вскрылось, что среди части бывших борoтьбистoв и других бывших социaл-нaциoналистских партий вo глaвe с Шумским сложилась опасная группа нaциoнал-уклонизмa, с кoтoрой пaртoргaнизaция бoльшeвикoв Укрaины вo глaвe со своим ЦК КП(б)У повелa решительную бoрьбу" [4. С. 383]. Нa сoстoявшемся в июнe 1926 г. пленумe ЦК КП(б)У Каганович пoдчеркнул пpиoритeт клaсcoвoгo пpинципa. Хoтя "Укрaинa дoлжнa служить oбpазцoм и пpимepoм рaзрeшeния пpoлeтaриaтoм пpоблeмы нaциoнальнoгo oсвoбoждeния угнeтeнных мaсс", тeм нe мeнee "oснoвнoй нaшeй зaдaчeй являeтся стpоитeльствo социaлизмa и укpeплeниe диктaтуры рaбoчeгo клaссa..." Пoэтoму "сaмo сoбoй рaзумeeтся", чтo нaциoнальный вoпpoc пoдчинeн "этим двум oснoвным зaдaчaм" [3. Ед. xр. 107. Л. 12–13]. Глaвa укрaинских кoммунистoв брaл пpимep со Стaлинa: oтвeчaя нa XII съeздe РКП(б) "oднoй гpуппe тoвaрищeй", "слишкoм рaздувшим нaциoнальный вoпpoc", пoслeдний тaкжe нaстaивaл нa пpиoритeтe социaльнoгo вoпpосa пeрeд нaциoнальнoм [8. С. 650].

В вoпpосe укрaинизaции Каганович пpидepживaлся oстoрoжнoй пoзиции, пoстoянно пpoтивoпoстaвляя вeликoрусскoму шoвинисту укрaинскoгo нaциoналистa, a русскoму кoммунисту, нe пoнимaющeму нeoбхoдимoсти укрaинизaции, – Хвyleвoгo, кoтoрoгo "губит утeрa клaсcoвoгo пoдхoдa". Пpи этoм он пpедупpeждaл укрaинских бoльшeвикoв oб oпaснoсти "внутpeннeй дpаки пo нaциoнальнoму вoпpосу". Тaк жe oстoрoжнo глaвa КП(б)У рeшaл вoпpoc o стapых и нoвых бoльшeвистских кaдpax. "Всякую вoзмoжнoсть выдвигaть свeжих, здoрoвых, вeдущих пpавильную линию укрaинских рaбoтнoкoв мы бyдем испoльзoвaть... Нo мы имеем и пoпыткy выстyпить пpoтив дeйствитeльнo стapых бoльшeвистских кaдpов, пpи пoмoщи кoтoрых стpоилась бoльшeвистская пaртия, нa кoтoрых зиждилась лeнинская пaртия" [3. Ед. xр. 107. Л. 18–19]. В этoй пoзиции Кагановичa oтчeтливo пpoглядывaет eгo мaнepa "дpyгa и сoрaтникa" Стaлинa, пpедпoчитaвшeгo рaзыгpывaть пeрeд пaртиeй рoль "зoлoтoй сeрeдины" в пpeддвeрии рaзгpoмa сoпepникoв.

Пoзиция Шумскoгo пoдвeрглaсь нa июньскoм пленумe ЦК КП(б)У 1926 г. бeспoщaднoй кpитикe. Oсoбo oжeстoчeнный спoр вызвaл вoпpoc o бывших бoрьбистax. Н.А. Скрьпник oт лицa бoльшинствa ЦК утвeрджaл, чтo "бывшие бoрьбисты – нeзaлeжники-укaписты – вoшли в пaртию (бoльшeвикoв. – Е.Б.), oткaзaвшись oт свoих пpeжних oшибoчных пoзиций", и нaстaивaл нa включeнии дaннoгo тeзисa в рeзoлюцию пленумa. Шумский нaстaивaл нa тoм, чтo "oшибoк в пaртии бoрьбистoв нe былo и чтo ee oтличие oт пaртии бoльшeвикoв былo лишь в пoстaнoвкe нaциoнальнoгo вoпpосa". Oднaкo пoд дaвлeниeм бoльшинствa ЦК он вынуждeн был сoглaситься, чтo "oшибки имeли мeстo", нo бeзyспeшнo пpoдoлжaл нaстaивaть нa нeцeлeсooбpaзнoсти упoминaния o них в рeзoлюции [3. Ед. xр. 107. Л. 57oб.].

Шумскoму пpедлaгaли oткpытo пpизнaть oшибки, ибo свoими дeйствeниями он пoстaвил "пoд удaр пoлитбюpo, цeнтpaльный кoмитeт, всю пaртийную oргaнизaцию Укрaины". Нaркoм пpoсвeщeния нaчaлa пытaлся дoкaзaть, чтo eму былo "чpeзвычaйнo тpyднo рaбoтaть", пpичeм он "дeлaл oтвeтствeнным зa этo гeнepaльнoгo сeкрeтaря", oднaкo в кoнцe кoнцoв был вынуждeн зaявить, чтo eгo пpедлoжeниe снять Кагановичa являлoсь oшибoчным, и вырaзил дoвeриe гeнepaльнoму сeкрeтaрю КП(б)У [3. Ед. xр. 107. Л. 59oб.].

Любoпытнo, чтo Каганович, хoтя и выстyпaл нa июньскoм пленумe в кaчeствe глaвы укрaинских кoммунистoв, в пoлeмикe с Шумским пpактичeски нe пpинимaл yчaстия, зaняв выжидaтeльную пoзицию. Этo нe удивитeльнo, пpинимaя вo внимaниe бoльшoй рeзoнaнс, кoтoрый пoлучили сoбытия нa Укрaинe. Oппoзиция oбрaщaлa oсoбoe внимaниe нa пeрeгибы укрaинизaции в УССР. Тaк, в нaчaлe дeкaбpя 1926 г. Ю. Лaрин нaпpaвил в рeдaкцию "Укрaинскoгo бoльшeвикa" стaтью, гдe выстyпил пpoтив "пeрeгибoв нaциoнализмa" нa Укрaинe. Рeзкoй кpитикe пoдвeрглись пpоявлeния "зooлoгичeскoгo русoфoбствa" в oбщeствeннoй жизни. Рeчь шлa нe стoлькo o литepaтype (стaтьях Хвyleвoгo), скoлькo o пpинудитeльнoй укрaинизaции русскoязыч-

ного населения Украины. По мнению Ларина, было совершенно недопустимо "устранение русского языка из общественной жизни (от собраний на рудниках и предприятях до языка надписей в кино)"; перевод работы профсоюзов на украинский язык, которого не понимало подавляющее большинство рабочих; применение в школах языка обучения, не являющегося разговорным для детей местного населения, и т.п. [9. Арк. 2–26]. "Недочеты украинизации, – писал Ларин, – объясняются тем, что некоторые местные партийные и государственные органы перегнули палку". Последствием же стала "не украинизация, а раздражение против украинизации", что подрывало основу "под действительным ростом украинской культуры" [9. Арк. 10, 13].

В том же духе выступали известные оппозиционеры Г.Е. Зиновьев и В.А. Ваганян, критиковавшие национальную политику КП(б)У с аналогичных позиций. Весьма характерно заявление Зиновьева о том, что украинизация "льет воду на мельницу петлюровцев", что вызвало взрыв негодования у украинских сторонников Сталина [3. Ед. хр. 106. Л. 13–13об.].

В этой ситуации Каганович, действуя сообразно с рекомендациями письма Сталина "Кагановичу и другим членам политбюро ЦК КП(б)У", решил лишить оппозицию ее аргументов. На заседании политбюро, посвященном народному образованию⁴, он подверг резкой критике работу наркома просвещения. Шумский по существу обвинялся в ущемлении прав нацменьшинств. Например, в Одессе, "в которой из 9700 учеников, находящихся в школах, 3100 являются украинцами, 3156 русскими и 2926 евреями", все школы были украинизированы. Шумский попытался возразить: "Украинизированы с тем, чтобы перевести их потом в другие школы". На это Каганович резонно заметил: "Так вы бы раньше перевели в другие школы, а потом уже украинизировали школы. Нельзя же лишать детей возможности обучаться на своем языке" [3. Ед. хр. 113. Л. 31–32].

Весьма серьезными были обвинения в адрес Шумского в "утере классового подхода", о чем свидетельствовал ряд выпущенных украинским Наркомпросом учебных пособий. "Конечно, детям не следует преподавать глубокие научные анализы, но нужно, чтобы то, что преподается детям, было строго выдержано и соответствовало нашему коммунистическому миросозерцанию", – настаивал генеральный секретарь КП(б)У. Так, например, в пособии О. Курыло по начальной грамматике украинского языка "ни одного слова нет о деятелях партии, о Ленине, о советском правительстве"; в пособии по истории украинской литературы А.К. Дорошкевича "излагается содержание дискуссии, которая у нас была недавно по вопросам литературы", но совершенно не освещается позиция июньского пленума, осудившего творчество Хвильевого [3. Ед. хр. 113. Л. 26–28]. Вывод из всего этого был очевиден: все достижения украинизации являются результатом "серьезнейшей работы всей нашей партии", и "меньше всего в этом заслуга Наркомпроса, который не сумел охватить и руководить этим процессом, шедшим мимо Наркомпроса" [3. Ед. хр. 113. Л. 29–30].

Пытаясь дискредитировать Шумского как главу Наркомпроса, Каганович на объединенном пленуме ЦК и ЦКК КП(б)У в феврале–марте 1927 г. заявил, что Комиссариат просвещения "дошел до невероятного развала". «Я думаю, что так могут поступать только люди, которые ставят интересы своей "парламентской" политики выше деловой работы по руководству крупнейшим и важнейшим наркоматом, только люди, для которых игра в дискусию дороже крупнейших, важнейших задач нашего строительства», – с пафосом восклицал генсек. И продолжал, уже обращаясь к новому наркому просвещения: "Я думаю, что тов. Скрипник наконец упорядочит работу Наркомпроса, там очень длительное время руководитель почти не работал" [3. Ед. хр. 107. Л. 159–160].

Как справедливо замечают Дж. Мейс и В.Ф. Солдатенко, «пророссийски настроенные члены партии, а они составляли 2/3 от общего числа, были недовольны политикой украинизации, и существовала определенная угроза, что они могли примкнуть

⁴ Это заседание состоялось в 1926 году, к сожалению, в документе месяц не указан.

к так называемому "антипартийному блоку"» [10. С. 136]. С этим нельзя не согласиться, если учитывать, что открыто критиковать политику украинизации было небезопасно, а Зиновьев как раз придерживался негативной оценки национальной политики на Украине.

И Зиновьев, и Каганович, каждый по-своему, стремились заручиться поддержкой украинских коммунистов. Каганович сделал тактически верный ход, убрав Шумского с поста нарком просвещения. "Отстранение Шумского было политическим сигналом русским, что украинизация носит временный характер", – пишут Дж. Мейс и В.Ф. Солдатенко [10. С. 136]. Каганович стремился заручиться поддержкой старых большевистских кадров на Украине, нейтрализовав слишком уж горячее "украинизаторское" рвение бывших боротьбистов. Таким образом он мог получить опору и среди украинцев-выдвиженцев, и в то же время не давал большинству членов КП(б)У свернуть к оппозиции. Отношение Кагановича к украинизации весьма ярко характеризует следующий факт: несмотря на то, что он выучил украинский язык, которого раньше не знал, говорил на нем в основном тогда, когда было необходимо проявить знание "мови". Так, выступая в июле 1928 г. на выпускном собрании курсов окружных работников (каких именно – неизвестно), Каганович говорил о необходимости изучения чиновниками украинского языка исключительно по-русски. На просьбу с места говорить по-украински он заявил: "Я сегодня не выступаю по-украински исключительно потому, что страшно устал и голова болит... Я украинский язык знаю, но не настолько, чтобы думать по-украински" [3. Ед. хр. 115. Л. 159].

Таким образом, украинизационную политику большевиков следует рассматривать в контексте партийно-политической борьбы в РКП(б) – ВКП(б). В одном из писем Сталину Каганович писал: "3-го июня (1927 г. – Е.Б.) собираем пленум ЦК... придется остановиться на внутрипартийных вопросах [,] было бы очень хорошо [,] если бы я имел кое-какие указания или материал [,] хотя для меня ясно, что... придется [ставить] вопрос о Зиновьеве и вообще о разворачивающ[ейся] вновь фракционной работе [,] ставить твердо и решительно [,] у нас заметно оживление фракционной работы, они слабы, слабее чем в прошлом году в это время, но работу оппозиция разворачивает с той же беспардонностью не только в Харькове [,] но и в других городах Украины (Николаев, Запорожье и т.д.) [,] успех или правильнее не успех прежний, но внимание партии мы мобилизуем..." [3. Ед. хр. 120. Л. 42].

Обратим внимание и на то, что Каганович, критикуя Шумского, стремился противопоставить его компартии. В своих воспоминаниях он указывал на тесную связь различных "националистических уклонов" и оппозиции: "Нами... велась идейно-партийная борьба с группами, отражавшими и выражавшими в большей или меньшей степени идеи... буржуазных националистов и внутри партии оказывавшими поддержку троцкистскому оппозиционному блоку" [4. С. 382].

Курс на украинизацию определялся не столько программными положениями коммунистической партии, сколько сугубо политическими расчетами, а сама кампания приобретала большое практическое значение в борьбе за власть. Перед Кагановичем стояли конкретные цели, обусловленные расстановкой сил во внутрипартийной борьбе в центре. Защищая позиции Сталина на Украине, Каганович приходилось постоянно бороться с "националистическими уклонами различного типа". На X съезде КП(б)У в ноябре 1927 г. он выступил с разоблачением ряда "выступлений в общепартийном масштабе, которые целиком поддерживают и прикрывают русский националистический уклон в рядах КП(б)У" [3. Ед. хр. 106. Л. 13]. Инициаторами таких выступлений он считал Зиновьева, Ваганяна и Ларина. Они, "взяв под сомнение всю политику партии на Украине в области национального вопроса", наносили, по мнению Кагановича, непоправимый вред ВКП(б), поддерживая "шовинистический уклон в партийных рядах". По своему обыкновению, глава украинских коммунистов стремился проявлять "объективность". Разоблачая Зиновьева, Ваганяна и Ларина, он указывал и на недопустимость "национального шовинизма Хвылевого", "серьезные ошибки" Шумского. "Несмотря на разный подход, несмотря на разные полюсы, уклон

шовинизма великорусского – Зиновьева, Ваганяна, Ларина – и уклон Шумского имеют сходство, потому что корень у них один и тот же. Это – мелкобуржуазный мещанский национализм", – подводил итоги генеральный секретарь КП(б)У [3. Ед. хр. 106. Л. 15–16].

Таким образом, Каганович, подражая Сталину, стремился бороться на два фронта – и против великодержавного шовинизма, и против украинского национализма. В марте 1928 г. на активе харьковской парторганизации Каганович так определял основные принципы национальной политики КП(б)У: "В своей политике, при проведении своей национальной линии мы ведем и будем вести решительную борьбу с теми элементами, которые не понимают нашей национальной политики или не хотят ее понять, будь то украинский уклонист, будь то русский уклонист... мы будем бороться со всей силой и против шовинизма украинского, и против шовинизма российского" [3. Ед. хр. 115. Л. 139–140].

Генеральный секретарь КП(б)У признавал, что на ход процесса украинизации борьба с оппозицией оказывала большое влияние. Так, с трибуны объединенного пленума ЦК и ЦКК КП(б)У 9 апреля 1928 г. им было заявлено: "Мы к делу подбора людей, к делу подбора работников в значительной мере подходили под политическим углом зрения, обеспечивающим единство партии, обеспечивающим правильную политическую линию" [3. Ед. хр. 18. Л. 103]. Действительно, низовой партийный аппарат при Кагановиче значительно обновился. Так, если в 1926 г. среди секретарей окружных партийных комитетов было только 26% украинцев, то в 1927 г. их было уже 46%, а в 1928 г. – 55%; среди секретарей районных партийных комитетов в 1927 г. было 48% украинцев, а через год – уже 60% [3. Ед. хр. 115. Л. 160].

Подводя итоги своей работы на закрытом объединенном заседании политбюро и президиума ЦКК КП(б)У 27 апреля 1928 г., Каганович заявил, что "в последний период мы изжили окончательно всякую семейственность и внесли в работу ПБ (политбюро. – *Е.Б.*) исключительно деловой дух". Как бы то ни было, но в резолюции президиума ЦКК КП(б)У было отмечено, что "отзыв тов. Кагановича вредно отразится на состоянии украинской парторганизации, вызовет недоумение в умах членов партии, так как нет наличия тех причин, которые вызывают необходимость его ухода с Украины" [3. Ед. хр. 108. Л. 53, 63].

Действительно, таких причин оставлять должность, как у Квиринга, у Кагановича не имелось. Ситуация была скорее противоположная: Каганович выполнил поставленные Сталиным задачи, и украинская парторганизация теперь являлась верной сторонницей генсека ЦК ВКП(б). Отпала необходимость и в партийном бдении за действиями "новой оппозиции" на Украине. За четыре месяца до отъезда Кагановича из Харькова, в середине декабря 1927 г., XV съезд ВКП(б) поставил крест на партийной карьере Л.Д. Троцкого, Г.Е. Зиновьева и Л.Б. Каменева. "Верный соратник" нужен был теперь Сталину в Москве. Каганович так вспоминал беседу с генсеком о необходимости своего возвращения: "Перед нами новые организационные задачи, особенно в области подготовки и распределения кадров... – говорил Сталин, – у вас теперь новый опыт работы на Украине, да и старый московский опыт теперь очень пригодится в борьбе с поднявшими голову правыми, особенно в Москве во главе с Углановым, – так что давайте, без сопротивления и оговорок возвращайтесь в Москву. На Украине парторганизация устойчивей – пошлем туда товарища Косиора." [4. С. 392]. Данная цитата довольно точно свидетельствует о причинах перемещения Кагановича в Москву. Украинская парторганизация стала "устойчивой"; в Москве же начинали с тревогой говорить о "правом уклоне" в партии. Лазарь Мойсеевич нужен был теперь в качестве секретаря ЦК ВКП(б).

Таким образом, в 1925–1928 гг. на характер украинизации влияли не только национальные устремления украинской интеллигенции и части партийных кадров, но и расстановка сил в центре. Борьба И.В. Сталина с оппозицией обусловила замену генерального секретаря КП(б)У, вышедшего из доверия Э.И. Квиринга на верного Л.М. Кагановича. Украинизаторское рвение наркома просвещения А.Я. Шумского

предоставило московским оппозиционерам почву для заявлений о господстве в УССР "зоологического русофобства". Ответные меры Кагановича призваны были лишить оппозиционеров почвы для подобных обвинений. Ему было необходимо не дать примкнуть к оппозиции тем украинским коммунистам, которые проявляли недовольство украинизацией, направив украинизаторские устремления других в нужное сталинскому руководству русло. Успешно балансируя между "великодержавным шовинизмом" и "украинским национализмом", связав различного рода "уклоны" с "антипартийной оппозицией" в Москве, Каганович сумел обеспечить Сталину необходимую во внутривластной борьбе поддержку одной из самых крупных республиканских партийных организаций, что оказало определенное воздействие на исход политической борьбы в центре.

Кадровые сдвиги в КП(б)У, проведенные Л.М. Кагановичем, независимо от его установок, объективно заложили основы для складывания в последующие годы этнономеклатуры на Украине, да и вообще современной украинской государственности. Сходная ситуация наблюдалась и в других республиках. К этому реально вела практическая деятельность высшего партийного руководства по развитию союзных республик на основе "ленинско-сталинской" теории национального вопроса и государственного строительства с использованием идеи "территориально-национальной автономии". Вероятно, с того же времени надо вести отсчет процесса становления "титупольной нации" как условия для продвижения по служебной лестнице.

Коренизация, проведенная в республиках СССР в 1920-е годы, во многом определила последующее развитие событий и заложила основу будущих этнополитических конфликтов на территории Союза.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Борисенко Е.Ю.* Украинизация 1920–1930-х гг. в СССР в освещении современной украинской историографии // *Славяноведение*. 1999. № 5.
2. *Бондарчук П.М.* Профспілки УРСР й українізація культосвітньої роботи // *Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика*. Київ, 1999. Вип. 3; *Букач В.М.* Політика українизації в першій половині 20-х років (Матеріали к курсу по історії України та української культури). Одеса, 1997; *Верменич Я.В., Бачинський Д.В.* "Українізація": походження і зміст поняття // *Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика*. Київ, 1999. Вип. 3; *Даниленко В.М.* Українізація: здобутки і втрати (20–30 рр.) // *Проблеми історії України: факти, судження, пошуки*. Київ, 1992. Вип. 2; *Даниленко В.М., Касьянов Г.В., Кульчицький С.В.* Сталінізм на Україні. 20–30 рр. Київ, 1991; *Кондратюк В.О., Зайцев О.Ю.* Україна в 20–30 рр. ХХ ст. Суспільно-політичне життя ХХ ст. Львів, 1993; *Колястрок О.А.* Влада і преса в контексті політики українизації (20–30 рр.) // *Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика*. Київ, 1999. Вип. 3; *Кульчицький С.В.* Курс – українизація // *Родина*. 1999. № 8; *Чехович В.А., Касьянов Г.В., Ткачова Л.І.* Держава і українська інтелігенція (деякі проблеми взаємовідносин у 20-х – на початку 30-х рр.) Київ, 1996; *Шарпаний В.Г.* Участь М.О. Скрипника в українизаційних процесах 20-х рр. // *Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика*. Київ, 1996. Вип. 2.
3. Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф.81. Оп.3.
4. *Каганович Л.М.* Памятные записки рабочего, коммуниста-большевика, профсоюзного, партийного и советско-государственного работника. М., 1996.
5. *Хвилья А.* Национальный вопрос на Украине. Харьков. 1926.
6. *Сталин И.В.* Сочинения. Т. 8. М., 1948.
7. *Шаповал Ю.И.* Л.М. Каганович на Украине // *Український історичний журнал*. 1990. № 8.
8. XII съезд РКП(б). Стенографический отчет. М., 1968.
9. Центральний державний архів громадських організацій України (ЦДАГО України). Ф. 1. Оп. 20. Спр. 2256.
10. *Мейс Дж., Солдатенко В.Ф.* Национальные питання у житті й творчості Миколи Скрипника // *Український історичний журнал*. 1996. № 3.

© 2001 г. *Р. БЕККЕР*

МЕЖДУ РЕВОЛЮЦИОННЫМ КОНСЕРВАТИЗМОМ И ТОТАЛИТАРИЗМОМ. ДИЛЕММЫ ОЦЕНКИ МЕЖВОЕННОГО ЕВРАЗИЙСТВА

1. Проблема сущности евразийства

Что представляло собой евразийство? С каким образом мышления можно его сравнить, как его можно классифицировать? Было ли это консервативное течение в том смысле, какое придавалось этому слову Ж. де Местром? А может, это было движение дофашистское в том смысле, что предшествовало по времени и своеобразно препарировало идею, а, следовательно, сравнимое с немецким течением консервативной революции? Или это было тоталитарное направление общественной мысли? Правильный ответ на вопрос о характере этого значительного с интеллектуальной точки зрения небольшого в количественном отношении течения российской межвоенной эмиграции очень важен. Ведь речь идет не только об определении его сущности. Таким же значительным является определение масштаба и глубины влияния западных интеллектуалов на крайних антизападников. Это может быть одним из многих показателей преемственности российской эмиграционной мысли. Следует добавить, что евразийство является одной из потенциальных доктрин формирующейся современной российской официальной государственной мысли. Следовательно, правильное определение сущности евразийства имеет чисто практический аспект.

2. Евразийство и консервативная революция

Немецкий исследователь российской общественной мысли Л. Люкс пишет, что особенно плодотворным может быть сравнение евразийства с идеей так называемой консервативной революции, которая сыграла значительную роль в истории Веймарской республики [1. С. 390–391]¹. Этим же путем пошел, несомненно, знающий эту публикацию А. Дугин [2]. И действительно, можно найти ряд сходных черт между евразийством и идеями немецкой консервативной революции. И первое, и второе провозглашено интеллектуалами – лицами, занимающими значительное место в духовных элитах своих народов. Достаточно здесь упомянуть философа Л. Карсавина, языковеда Н. Трубецкого, профессора географии в русском университете в Праге П. Савицкого, а с другой стороны философа политики К. Шмидта, А. Брука, писателя Э. Юнгера и т.д.

Беккер Роман – д-р, заместитель директора института социологии университета Н. Коперника (г. Торунь).

¹ В статье Л. Люкса можно также найти обширную библиографию на эту тему.

Как для межвоенных евразийцев, так и для революционных консерваторов Веймарской республики характерно использование интеллектуальных конструкций, созданных Ж. де Местром. Это были заимствования и в том, и в другом случае в значительной степени сознательные. Об этом свидетельствуют не только фундаментальное знание текстов де Местра Л. Карсавиным, но и одобрительное отношение к взглядам этого французского дипломата К. Шмидта, например, в книге "Die politische Romantik" (1919).

В чем совпадают взгляды де Местра и Карсавина и в целом евразийцев? Общим для них было убеждение в значительном различии между провозглашаемыми лозунгами и настоящей сущностью революции, а также в иллюзорности какого-либо руководства этой стихией. Такая трактовка революции вытекала у евразийцев из концепции симфонической личности, в соответствии с которой самостоятельными субъектами и в исторических, и в общественных процессах являются не индивидуумы, а коллективные, "высшие" личности. Де Местр был убежден, что каждый человек обременен: не только первородным грехом, но и является соучастником всех грехов своего народа и всего человечества. Отсюда и его судьба – решаемая Божьим судом – определяется не только его личными заслугами и провинностями, но и его соучастием. Отсюда только шаг до определения "высших субъектов": субъектом Божьего права является человеческое сообщество, исторический организм, а судьба человеческой личности есть только выражение и следствие того же совместного договора. Как и в случае определения судьбы человека, так и общественных групп наступает значительный отход от православной онтологии спасения [3. С. 89–90].

Концепция симфонической личности в этой ситуации ближе де Местру, чем славянофилу А. Хомякову². Этот тезис тем более справедлив, что в обоих случаях (и евразийцев, и де Местра) мы имеем дело с однотипной концепцией установления на Земле христианского мира. Точнее: речь идет о глобальном подчинении мира католицизму у де Местра, а у евразийцев – сознание мира, подчиненного Церкви, если не в масштабах всего земного шара, то по крайней мере на территории Евразии.

Подобным образом трактовали общественное бытие революционные консерваторы. Следует привести здесь их видение веры: "Консервативной революцией мы называем возвращение уважения ко всем элементарным правам и ценностям, без которых человек губит связь с Богом и природой и не способен создать настоящий порядок. Место равенства занимает внутренняя оценка, место общественного инстинкта – справедливое включение в иерархическое общество, место бюрократического принуждения – внутренняя ответственность настоящего самоуправления, место массового счастья – право индивидуальности народа" [4. S. 15]. Ссылка на католические "живые ценности" тут явно соединена с отрицанием субъективности человека, которая в состоянии функционировать вне персонифицированного национального бытия.

Намного важнее является другая параллель, о которой С. Хоружий не упоминал. И де Местр, и евразийцы, и революционные консерваторы трактовали коллективные субъекты, эти симфонические или национальные личности или христианскую гуманность, подчиненную Папе, как идеальное бытие. Различия (и достаточно значительные) между де Местром и евразийцами основываются на способе определения коллективных субъектов. Если де Местр ищет обоснование их существования в трансценденции, то евразийцы и в некоторой степени революционные консерваторы их сущность ищут в этнических элементах, скрываемых (до времени) ресурсах энергии, космизме и географическом детерминизме.

Энергетизм, космизм и придание трансцендентальных черт российско-евразийскому народу сближают мысль Карсавина и других евразийцев с антизападной русской мыслью [5]. Мысль де Местра была здесь использована скорее как подходящий

² Может показаться, что С. Хоружий трактует этот тезис исключительно гипотетически, ставя в конце знак вопроса. Однако это скорее риторический вопрос.

конструктивный материал, чем как выражение очарования разными западноевропейскими концепциями. Неслучайно, что именно творчество де Местра, а не Эдмунда Бёрка стало для многих российских мыслителей основой собственных интеллектуальных конструкций.

Подобным образом возникла и идея создания третьего рейха, который должен был быть творением совершенно противоположным классическим национальным государствам, основанным на демократии и либерализме.

Надежды, что евразийцы заменят большевиков в деле осуществления власти, были очень близки настроениям консервативных революционеров в отношении национал-социализма. Многие представители революционного консерватизма хотели, как и евразийцы, подчинить все общество власти одной тоталитарной партии. И те, и другие верили в элитарный характер своего движения, а также во всевластие идеи. Они считали, что народы должны быть управляемы идеей, а не институтами. Особенно близки подобной концепции власти были идеи Г. Зехрера, А. Брука, а также Э. Юнгера. Характерными как для первого, так и для второго движения были также бунтарские и юношески энергичные выступления против целей и идей старшего поколения [6. С. 18–29]. Причиной был не столько распад традиционной левой идеологии, как утверждает Л. Люкс [1. С. 390], сколько неспособность социалистических мыслителей выработать адекватные ответы на вызовы 1920-х годов.

В действительности и евразийство, и течение консервативной революции функционировали вне традиционной схемы деления на правых и левых, а само их существование создавало новые критерии деления. Например, по отношению к прошлому. Новые радикальные движения были фактически основаны на стремлении обновить старый порядок вещей. Евразийцы считали, что нельзя Россию Петербурга (а, следовательно, послепетровскую, европеизированную) называть "святой Русью". Подобным образом немецкие группы революционных консерваторов осуждали эпоху Вильгельма, обращаясь к идеалам старого рейха [7. С. 178–179; 8. С. 29, 32–43, 110–111]³.

И первые, и вторые отбрасывали просветительскую идею прогресса, тем самым должны были отрицать трактовку понятия реакции как знака антиценности. Если отбросить тезис о линейном ходе истории, то категории прогресса и реакции не имеют значения. Даже при молчаливом принятии положения о цикличности истории, что значительно усиливает тезис о мультилинейности цивилизационных кругов, понятие консервативной революции перестает быть внутренне противоречивым. Ведь тогда оно означает "новое начало", радикальное обновление общества, основанное как на старых ценностях и идеях, так и на попытке строительства нового порядка, порывающего со старым, хотя все еще существующим общественным укладом. Таким этапом нового начала для немецких революционных консерваторов была Первая мировая война, а для евразийцев – российская революция.

Л. Люкс [1. С. 391] и до него Н. Рязановский [11. С. 55, примеч. 34] утверждают, что сходство между евразийцами и консервативными революционерами не касается только организационных или мировоззренческих структур, но вытекает также из характера периода, в котором оба течения развивались. В 1920-е годы еще не существовал гитлеровский режим, а сталинский – только формировался. Открытым был характер развития и российской, и немецкой политической системы. Тоталитарные структуры в обоих государствах еще только формировались. Следовательно, могло казаться, что существовала благоприятная возможность для развития "идеократических" движений, основывающихся скорее на силе идеи, чем на организованных массах. Следует добавить, что сходство иллюзий вытекало из принятия одинаковых в структурном отношении схем мышления, а также очень похожих идейных положений.

³ Характеристику консервативной революции см.: [9. С. 230–242]. Заслуживает внимания также сборник текстов В. Куницкого [4], о котором написал Д. Гавин [10].

Для обоих течений была характерна концентрация внимания на проявлении насилия в СССР и Германии в начале 1930-х годов. Евразийцы, критикуя жестокие формы индустриализации и коллективизации, тем не менее высказывались об этих способах общественных преобразований восторженно. Подобным образом консервативные революционеры оценили падение Веймарской республики и введение "нового порядка". В это же время оказалось, что испытываемые как евразийцами, так и консервативными революционерами надежды на внутреннюю эволюцию сталинизма (или соответственно нацизма) можно трактовать только как несбыточную мечту. Для такого типа политических сил в обеих системах не было места. Вероятно, решающим оказалась не только недооценка значения демагогии и роли массового общественного движения, как утверждает Ф. Рышка [12. S. 106], но и неспособность пользоваться такими инструментами. Следовательно, ничего удивительного, что после окончательного триумфа Сталина и Гитлера оба течения исчезли.

Наряду со сходными чертами существуют и различия. По мнению Люкса [1. S. 391], евразийцы обращали большое внимание на роль религии, а для большинства революционных консерваторов религия не имела значения. Однако православная религия была для евразийцев скорее определенной формой сохранения культурного единства народов Евразии, чем первичной ценностью.

Эстетизация и оправдание насилия, которые были типичными для некоторых групп консервативных революционеров, по мнению Люкса [1. S. 392], встречались у евразийцев редко. В этом последнем случае тезис Люкса должен быть значительно ограничен только в отношении периода 1920-х годов и то за исключением группы, концентрирующейся вокруг парижского еженедельника "Евразия", издававшегося в 1928–1929 гг. Это различие могло вытекать из разной степени очарования силой, но оно не означает неодобрения силы как средства завоевания и осуществления власти.

Люкс отмечает и другое важнейшее различие между течениями [1. S. 392]. Если группировки консервативной революции действовали в собственной стране и оказывали влияние на развитие ситуации, то евразийцы (несмотря на предпринятые усилия по возвращению на родину) были этого лишены. Однако это различие не влияло на способ восприятия мира евразийцами, а было результатом, если так можно выразиться, специфического способа существования российских эмигрантов. Они считали, что живут в так называемой заграничной России, и, следовательно, замыкались в тесных эмигрантских кругах, трактуя их как заменитель настоящей отчизны.

Следовательно, различия между евразийством и группами консервативных революционеров минимальны, зато сходство так значительно, что можно говорить об одинаковом типе мышления. Если важнейшим фактором считать отношение к традиции, то оба течения можно определить как интеллектуальные формы контракультурационного⁴ мышления. Следовательно, сравнение евразийства с консервативной революцией плодотворно в теоретическом отношении, зато не решает проблемы определения существа обоих этих течений. Значительные сходства между ними не означают их тождества.

3. Национализм или тоталитаризм

Если во многих трудах, касающихся евразийства, главным образом обращается внимание на его националистический характер [13. S. 98–102; 14. S. 47; 15], то в некоторых других однозначно или с некоторыми колебаниями говорится о тоталитарных тенденциях [16. S. 291; 9. S. 133–137; 17. S. 80]. Оба тезиса подкрепляются значительными и убедительными аргументами.

Евразийство не является веберовским идеальным типом как национализма, так и тоталитаризма. Представляется, что евразийство прошло эволюцию от специфичес-

⁴ Аккультурация – термин, близкий по значению понятию "ассимиляция" (ред.).

кого национализма до не выкристаллизованного окончательно тоталитаризма. Чтобы доказать это, необходимо отказаться от синхронного подхода в пользу диахронного анализа, что обосновывается преобразованиями организационных структур евразийства, а также неустойчивостью состава, характерной для этого движения. Кроме многолетнего лидера – П. Савицкого – почти все сторонники евразийства (включая его идейного основателя Н. Трубецкого) выходили из движения обычно очень быстро и чаще всего больше не возвращались. Очень изменчивы были также доминанты интеллектуальных течений в межвоенной Европе. А ведь политическая эмиграция является одним из центров, наиболее быстро воспринимающих сигналы о новых идеях. Неудивительно, что евразийцы сформулировали несколько программ – сначала в виде типичных для российской интеллигенции альманахов и идейных манифестов, и впоследствии уже характерных для политических партий деклараций.

4. Антиевропеизм

Интеллектуальным началом будущей теории о существовании евразийского континента (и цивилизации), отличного от Европы и Азии, стало формулирование идеи существования особого культурного типа на территории России. Эта идея была выдвинута Н. Трубецким в 1920 г. в брошюре "Европа и человечество", где он писал не только о равноправии всех культурных типов, но и дал резко отрицательную оценку средиземноморской цивилизации: представители романо-германской культуры грабят, угнетают и подвергают эксплуатации все народы и племена, не расположенные на территории Западной Европы. Колонизация, вывоз сырья и рабовладение являются, по мнению Трубецкого, следствием принятия так называемыми романо-германцами ошибочного убеждения, что их собственная культура является носителем прогресса, гуманизма и общечеловеческой цивилизации. Трубецкой же, как сторонник культурного релятивизма, считал, что каждое многоэтничное сообщество обладает собственной культурой, обычаями и правилами поведения. Нельзя говорить о существовании единого общечеловеческого сообщества.

Сравнение концепции Трубецкого с теориями Ф. Конечного, А. Тойнби и О. Шпенглера [18. С. 28–30], является, несомненно, интересным, однако не учитывает незрелости первого. Тезис Трубецкого является скорее предчувствием, эмоционально выраженным взглядом, чем теорией.

Отрицание ценностей западного мира стало в последующие годы основной детерминантой историографических оценок. Следовательно, по мнению Г. Вернадского, монгольское господство на Руси (в российской историографии определяемое как монгольское иго) было не только лучшим решением, по сравнению с господством католической Европы, но и принесло ряд позитивных перемен для российско-евразийского государства [19. С. 318–337; 20; 21].

Отрицание западного мира сопровождало национально-освободительные лозунги всех колониальных народов. Однако это был мистификаторский интернационализм. Главной целью было не освобождение, а уменьшение значения романо-германского мира. Сценарий преобразования межвоенного евразийства в интернациональное течение (или квазиинтернациональное) в конце концов не был реализован.

Отрицание западноевропейской культуры вызвано убеждением в том, что Запад не способен предложить евразийскому миру какие-либо духовные ценности. Осуждение марксизма было таким же сильным, как и критика католицизма и протестантизма. Однако важнейшим фактором, вызвавшим отрицание ценностей романо-германского мира, было стремление сохранить и возродить родную культуру. Это наиболее четко выражено в памфлете Трубецкого "Европа и человечество", который можно назвать интеллектуальным манифестом контракультурации, которая была очень сильна в период формирования основ евразийства.

5. Нативизм⁵

Характерное для евразийцев чувство угрозы со стороны доминирующей в дворянской России со времен Петра I западной культуры, отрицание предлагаемых ею образцов и норм поведения – это позиция контраккультурационная. Она дополняется сознательным стремлением к обновлению и сохранению по крайней мере некоторых аспектов традиционной, хотя и подвергающейся уничтожению модернизационным влиянием, собственной культуры [22].

Отнесение евразийства к типу врожденной контраккультурации сближает это интеллектуальное движение с поздним славянофильством, почвенничеством, а также с взглядами А. Солженицына. В действительности общая платформа для всех этих направлений мысли значительно шире. Это осуждение демократии, автономной ценности прав человека, трактование социальной группы в ее широком смысле как воплощение духа истории или духа Бога и т.д.

Основной категорией в таком способе мышления является антитеза "свой – чужой", и вытекающее отсюда противопоставление добра и зла. Трактовка этой категории как основного критерия оценки всех общественных явлений представляет начало пути в направлении тоталитарного мышления. Наиболее известный пример этого – ленинизм, который, по-народнически интерпретируя марксистские категории, превратил совершенную К. Каутским кодификацию мысли Маркса и Энгельса в специфическую тоталитарную политическую гностику [23. S. 205–226].

6. Присвоение правды

В брошюре Трубецкого "Европа и человечество" находим следующую формулировку: «истинная природа европейского космополитизма ... оставалась нераскрытой... раскрывая глаза и другим народам на истинную сущность... "благ цивилизации"» [24. S. 88, 90].

Истина – это понятие, означающее неоспоримую, вечную, раз навсегда установленную правду онтологического характера, заключенную вне человека. Ее можно открыть, но нельзя отрицать [25. S. 64]. Убеждение в подлинной сущности европейского космополитизма или благ цивилизации не вытекало у Трубецкого из объявления, не было также результатом научного открытия. Он просто описал свои убеждения, придав им форму научных выводов. Трубецкой сам себе приписывает власть определения подлинной сущности вещей, не заботясь о строгом порядке логической корректности и методологической добросовестности. Квазинаучная форма скрывала квазизаявления.

Присвоение права определять трансцендентную правду ведет к обожествлению разума мыслителя. Это он становится окончательным судьей, решающим, где правда и добро. Это означает создание мыслительного уровня, на котором возможна структуризация конкретного рода тоталитарной политической гностики. Однако это еще не свидетельствует о ее существовании.

7. Симфоническая личность – воображаемое бытие субъекта

Наделение Трубецким чертами личности избранных общественных групп (народов и наднациональных формирований) вытекало из включения в состав евразийских идей теории "симфонической личности", созданной Л. Карсавиным.

По мнению Р. Парадовского, Карсавин считал, что симфоническими личностями являются не только (как у Трубецкого) личности, народы и деятели культуры, но и слои, классы и прежде всего человечество. Последнее, по мнению Карсавина, является "всевременным и всепространственным, развивающимся субъектом"

⁵ Нативизм – термин, близкий по значению понятию "почвенничество".

[26. S. 87; (см. также: 27. S. 21)]. Л. Карсавин считал, что необходимо принять положение о метафизическом факте существенного единства человека и группы, а также их окончательного единства с Абсолютом. Высшим типом симфонической личности, делающим возможным объединение с Абсолютом, является Церковь, так как она является частью Космоса, который наилучшим образом знаком с Логосом – Божьим Словом [28]; (см. также: [29, S. 317; 30. S. 178]). Евразийцы заявили в 1926 г., что "Церковь есть истинное единство множества и множество единства, всеединство, как совершенная всеединая личность" [31. С. 24].

Категория симфонической личности могла быть включена в первоначальную систему евразийских тезисов, учитывая сходство со славянофильским пониманием соборности. Чаще всего она понималась, независимо от эпохи, как "российская общность, сообщество, хоровой принцип, единство любви и свободы, не обладающая внешними гарантиями" [32. С. 87].

Евразийство, следовательно, стало (с учетом как одобрения православия и славянофильских тезисов, так и уточнения Л. Карсавина) доктриной с все более явным антииндивидуалистическим способом мышления.

В первом публичном программном манифесте 1927 г. евразийцы представили основные положения подлинной, истинной, как они выражались, идеологии. Она не должна была быть универсальной, а симфонической (иначе: соборной), должна включать в себя и представлять стихии конкретной деятельности [31. С. 237]. Евразийская идеология призвана давать гарантию уверенности, вечной прочности, основанную на Абсолюте. Эту гарантию получали благодаря выведению евразийства из православия. По мнению евразийцев, православная русская Церковь эмпирически являлась не только религиозным учреждением, но и российской культурой, впрочем, созданной этой же Церковью [31. С. 253]. Следующим шагом было принятие положения, что Евразия – это особая симфонично-персональная индивидуализация православной Церкви и культуры. В этой единой симфонической культуре руководящее положение принадлежит так или иначе русской культуре [31. С. 253].

Если православная Церковь является подлинной формой совместного бытия культуры, то его вторичной формой является государство, задача которого – объединение всех сфер жизни [31. С. 253]. Придание абстрактному бытию человеческих черт не является простой персонификацией, так как предполагает перенесение способности к субъективности с человеческой личности на то же совместное бытие. Трубецкой писал, что "для существования государства необходимо прежде всего сознание органической принадлежности этого государства к одному целому, к органическому единству, каковое может быть только либо этническим, либо классовым, и что поэтому, при современных условиях возможно только два решения – либо диктатура пролетариата, либо сознание единства и своеобразия многонародной евразийской нации и общевевразийский национализм" [33. С. 31]. Не следует забывать, что эти взгляды разделялись исключительно евразийцами, но не существовали у народов России. Это не мешало евразийцам писать о евразийском мире как существующем.

Мы имеем тут дело с типичной фигурой тоталитарной политической гностики: субъектным воображаемым бытием – идеальным единством и силой, способной реализовать Дух Истории [26. С. 86, 87].

8. Постбольшевистский тоталитаризм?

Распространение категории симфонической личности на воображаемое общественное бытие было переломным моментом, означавшим переход к тоталитарной политической гностике. Последняя различает только два мира: один – собственный, хороший, в будущем вводящий повсеместное земное счастье, и второй – плохой, окружающий мир добра, в целом подвергнувшийся полной деструкции. Достаточно понять, чтобы изменять мир в соответствующем направлении (подробнее см.: [34. S. 67–82; 35; 36]).

У евразийцев мы находим такую же схему исторического мышления, как и в любом другом гносеологическом проекте. Они выделяли три исторические эпохи, из которых первая была периодом первоначального неосознанного счастья. Вторая является ее антитезой, но в ней видны элементы третьей эпохи, а следовательно, периода всеобщего, осознанного счастья.

Неустаннные попытки принудительной европеизации России привели в конце концов к господству большевиков. Поскольку коммунизм пришел из Европы, то его следует оценить как дальнейшее развитие вредной для России европеизации. Однако объективно, независимо от воли большевиков, а часто и вопреки их намерениям, эта деятельность неизбежно приводит к созданию евразийского, а следовательно, подлинного государства. П. Сувчинский писал, что революция – это не только анархичный бунт и борьба с Богом, но и желание отбросить далекие и чуждые собственной культуре формы и привилегии [37. С. 158]. А борьба с Богом приводит в конце концов к возвращению к религии и одновременно моральному возрождению людей, подчиненных власти большевиков. Трубецкой, сравнивая большевизм с евразийством, писал: "Положительное значение большевизма может быть в том, что, сняв маску и показав всем сатану в его неприкрытом виде, он многих через уверенность в реальности сатаны привел к вере в Бога" [38. С. 166]. Большевизм – это не что иное, как переходный период от европеизированной (отрицающей наиболее существенные элементы культуры собственного народа) России к российско-евразийскому государству. Государство это должно быть самобытное, отделенное от европейского влияния и, следовательно, самостоятельное в культурном и политическом отношении [39; 40. С. 96].

Евразийцы не восхваляли большевиков, однако воспринимали их как своих непосредственных (с точки зрения последовательности во времени) предшественников. Будущее принадлежит нам, а большевики его готовят, казалось, говорили евразийцы. Ленин таким же образом трактовал Временное правительство после Февральской революции.

9. Политическая программа евразийцев

Евразийство в программном манифесте 1932 г. [41] определяется как мировоззренческая система, основанная на религии, придающая православию первостепенное значение. Оно гарантировало свободу вероисповедания, но не уточняло соотношение между этим правом и местом православия. Можно допустить, что православие было бы государственной религией, а другие вероисповедания лишь терпимы (настолько, насколько верующие поступали бы в соответствии с волей властей). Эта последняя оговорка является одной из возможных интерпретаций следующего предложения первого пункта Декларации: "Евразийцы, принадлежащие к другим вероисповеданиям России – Евразии, подходят к тем же задачам (касающимся общественной жизни. – *Р.Б.*) из глубины своих религиозных убеждений" [41. С. 3].

Эта интерпретация тем более правдоподобна, что евразийцы приняли антииндивидуалистическую концепцию прав человека и гражданина и одобрили значение личности, но не в отрыве от коллективного (так называемого соборного целого). Человек должен альтруистично посвятить все свои силы общему делу, что и определит его права [41. С. 3]. Таким образом отвергается сформулированное Трубецким разделение личности на три типа: человека, народа и многонационального целого, суперэтноса. Евразийцы не признают ценности автономной человеческой личности, рассматривая последнюю инструментально, с точки зрения полезности для евразийских идей, т.е. практической организации жизни и мира. Евразийцы считали, что сильнейшим оружием, делающим возможным создание такой организации, является государство. Тем самым необходимо овладение государственным организмом [41. С. 3].

Государство трактуется как ценность, предшествующая задаче преобразования всего общества. Эта задача могла быть реализована в рамках особой системы,

называемой идеократической. Это слово определялось как передающее духовную сущность государства, руководящую общественную идею, реализуемую этим государством [41. С. 14–15]. Речь идет о строительстве евразийского порядка, о формировании чувства принадлежности к большому евразийскому сообществу. Целью является достижение зрелой формы евразийской культуры и затем ее защита подчиненным ей государством.

Цель (евразийская культура) и средство (евразийское государство) между собой тесно связаны [33. С. 31]; (см. также: [42. S. 83]). На практике средство могло бы стать окончательной целью, а самая важная цель – средством, оправдывающим действия правителей.

Вышеприведенные программные лозунги являются классическими формулами тоталитарного движения. Однако в сборнике программных документов Евразийской организации 1932 г. мы находим фрагменты, противоречащие тезису о тоталитарном характере движения. Точное определение компетенции и границ деятельности государственной администрации, а также введение кодексов: семейного, гражданского и судебного должно ликвидировать организационную анархию, типичную для тоталитарного государства. Концессия промышленных фирм, а также одобрение частной торговли должны были бы ограничить экономическую власть государства. Такие же последствия были бы вызваны введением свободы выхода из колхозов при одновременном оказании государственной помощи как колхозам, так и отдельным хозяйствам. Отдельные народы должны были не только получить право на развитие собственной культуры, но и иметь гарантированное самоуправление и законодательство [41. С. 28].

Отмеченные выше отличия от идеального типа тоталитаризма могли очень легко стать декларативными. Тестированием могло бы стать появление конкретного случая, нарушающего интересы и масштаб власти "ведущей силы". Если все эти отличия были бы терпимы или одобрены, то и в таком случае гражданское единство по-прежнему находилось бы в "запасном фонде" тоталитарных структур. Однако меньшим были бы проникновение во все области жизни и масштаб влияния специфической структуры, называемой партией нового типа. Это вид "мягкого" тоталитаризма. Так или иначе практика функционирования евразийского тоталитаризма (как и любого другого) больше зависела бы от равнодействующей общественных сил, чем от каких-либо программных деклараций.

10. "Демотическое государство" и движущая сила

Государство – коллективный организатор общественной жизни – должно быть "демотическим", т.е. реализующее устремления людей, народной стихии. Находившийся в Чехословакии евразиец Садовский (который и ввел этот термин) понимал его как государственный строй России, в котором власть должна "знать свою публичность", т.е. находиться в постоянном контакте с народными массами, широко и последовательно учитывать их потребности, искать в народе моральную поддержку [43]. Это возможно благодаря системе так называемых советов, формально похожей на государственный строй, функционирующий в СССР. Законодательная и исполнительная власть должны принадлежать Всесоюзному съезду Советов; указывалось на необходимость развития федеративного строя СССР и местной власти, полностью принадлежащей советам [44. С. 7].

Отрицание либерально-демократических решений (так как они являются романо-германскими) означало не столько одобрение действий, типичных для прямой демократии (местное самоуправление), сколько создание недемократической государственной системы. О таком ее характере, однако, можно сделать вывод только на основе высказываний, относящихся к началу 1930-х годов.

Государство должно быть построено на органическом принципе – основной политической единицей станут функциональные группы, созданные по принципу про-

фессиональной или экономической специализации: народы (точнее: "национальности"); территории вместе с их населением, имеющие географическое, экономическое и духовное единство; отдельные союзы и общества и т.д. [41. С. 16]. Это будет корпоративный строй, похожий на существовавший в фашистской Италии. Его важнейшая задача – артикуляция и согласование групповых интересов без использования демократических механизмов (евразийцы неоднократно положительно высказывались об итальянском фашизме (см., напр., [45. С. 85]).

Совместимой с таким государственным строем будет и экономическая сфера. Частная собственность должна существовать только при условии исполнения ею определенных государством функций, касающихся общего блага, т.е. в тех областях, где государственная экономика не эффективна, но будет, как и вся экономика, подчиняться содержащимся в государственных планах директивам [41. С. 4–5].

Элементом, скрепляющим систему, станет так называемая движущая сила, т.е. группа людей, охваченных желанием реализовать евразийскую идею. Хотя они могут происходить из различных общественных групп, однако должны защищать исключительно общественные интересы [41. С. 3]. Евразийцы предполагали, что именно благодаря таким чертам специальная группа ("ведущий отбор")⁶ получит достаточную легитимность для управления огромной империей. У нее нет собственных интересов, так как принципом приема в нее будет не социально-профессиональный статус, а посвящение себя реализации евразийских идей.

Это не классическая партия, хотя внешне может приобретать такую форму. Она отрицает право других партий на существование. Н. Алексеев в 1935 г. утверждал, что деятели этого движения будут похожи на "заволжских старцев", но вместе с тем и на масонов, а само движение – на католический или особый восточный орден [46. С. 33]. Здесь, как представляется, мы имеем дело с известным тогда сравнением Ф. Степуна, воспринимавшим российскую интеллигенцию как сообщество людей, подчиненных определенному образу жизни и мировоззрению, трактуемому религиозным образом, т.е. орден [47; 48].

Однако также правдоподобной и не исключающей первую является другая параллель. Группа активистов, преисполненная преданности идее, посвящающая всю свою жизнь ее реализации и ничего взамен не ожидающая, – это ведь нечто иное, как несколько идеализированный образ партии профессиональных революционеров – заговорщиков, убежденных в возможности спасения мира. Именно этот тип партии определялся, например, М. Дюверже [49. S. 91] как тоталитарная партия ордена. По мнению Дж. Оруэлла, его можно также рассматривать как внутреннюю партию в рамках правящей структуры партийно-государственного аппарата. Это она должна решать все важнейшие дела евразийского государства. Неудивительно, что форма государственного строя для евразийцев не так уж важна. Они предполагали возможность проведения свободных выборов в советы, но следующим образом: "Евразийский ведущий отбор осуществляет государственную деятельность через систему свободно избранных советов" [41. С. 4]. Предполагалось, что возникнут представительства профессиональных и этнических групп в рамках своеобразной корпоративной системы, но они должны стремиться к достижению основной цели идеократического евразийского государства.

Очередной вариант платоновской идеи правительства философов основывался на предоставлении права на правление людям, исповедовавшим исключительно ту, а не иную веру. Их легитимизацией была правильность, сущностная подлинность этой идеи. Нет даже необходимости убеждать кого-либо в их правильности. Важно иметь знание-веру, второстепенной является миссионерская деятельность. Таким образом, власть в государстве "отождествляется с достижением понимания сущностных потребностей общества" [50. S. 208]; (цит. по [51. S. 134]).

⁶ Термин "движущая сила" не применялся ранее. Карсавин использовал, например, понятие "руководящий слой", которое означало правящую группу [42. S. 78].

Нет существенных различий между принципами функционирования СССР и предполагаемой моделью евразийского государства. Различия только в используемых лозунгах, идеях, мировоззренческой основе. Зато структура мысли, предлагаемые схемы государственного устройства похожи как близнецы (ср. [17. С. 82–83]).

11. Тоталитарные элементы евразийства

Евразийское движение в 1930-е годы уже предлагало типично тоталитарные решения общественных проблем. Партия-орден, идеократическое государство, легитимизация посредством обращения к Логосу и притязания на статус обладателя абсолютной истины являются классическими элементами тоталитарной системы. Путь от врожденной контракультурации к тоталитаризму оказался не слишком сложным. Сопrotивление доминирующей культуре может в благоприятных условиях сравнительно легко привести к возникновению проектируемой социальной утопии.

Однако не следует утверждать, что в случае евразийства даже 1930-х годов мы имеем дело с целостной тоталитарной системой. Это движение никогда не приобрело черт, типичных для милитаризованной партии. Не существовало команды вождя, не было вооруженных партийных боевых отрядов, особой партийной формы одежды (ср. [53]). Может быть это вытекало из отсутствия люмпен-пролетариата. Однако следует помнить, что вся российская эмиграция должна была чувствовать себя лишенной родной почвы, Отчизны. Решающим все же является не отдаление от своей первоначальной общественной среды, а умение понять и приспособиться к новому окружению. А этим умением элита российского общества, вынужденная покинуть Россию, обладала.

Евразийцы не были способны (а точнее не хотели) играть роль профессиональных революционеров в партии нового типа. Если создание интеллектуальных конструкций не представляло для них сложности, то совершенно иным было для них руководство тоталитарной политической организацией. Отсутствие индивидуальных черт, делающих возможным осуществление роли вождя такой партии (наиболее заметное у Н. Трубецкого) было связано с моральными препятствиями, а также нежеланием потерять с трудом приобретенное общественное положение. Когда, к тому же, попытка передать исполнительные функции представителям советских военных кругов (а именно "Тресту") окончилась компроматацией, то им не осталось ничего другого, как ограничить свою активность пропагандистской и организационной деятельностью. Кроме использования конспиративных методов и названий по образцу большевистской партии нельзя считать Евразийскую организацию структурой, функционирующей на принципах партии нового типа. Это не была тоталитарная партия.

Несомненно, однако, существование тоталитарных проектов устройства евразийского мира. Роль движущей силы, реализующей стремление воображаемого субъекта истории – симфонической личности евразийского суперэтнoса, в империалистическом сословно-корпоративном государстве явно свидетельствует о существовании подобных проектов, и вдобавок к этому тоталитарное противопоставление "свой (хороший) – чужой (плохой)". Однако следует помнить, что оно выступает в образном сознании, а в упрощенном виде – проявляется в элементарных схемах вегетативного мышления масс, лишенных своей традиционной среды.

К тому же утопический проект будущего не был продуман до конца. Следует напомнить, что, хотя в евразийской Декларации 1932 г. и было написано о решающей роли государственного планирования, но допускалось существование частной собственности [41]. В евразийских публикациях можно найти упоминания о субъекте экономических решений в частных сельских, торговых и промышленных хозяйствах. Это означает, что не предполагалось полное и непосредственное подчинение государству всех общественных групп. Процесс труда должен был быть исключен из

сферы властного управления евразийской структуры. Поскольку публичная сфера полностью подчинена "движущей силе", то процессы труда должны сохранять автономию. Однако, учитывая существование плана, нельзя говорить об их полной независимости.

Нельзя предположить, как проходила бы эволюция евразийства в случае завоевания им власти. Во всех известных исторических случаях на первом этапе очень сильно выступала тенденция к полной реализации некогда только схематично намеченных тоталитарных проектов общественной утопии. Евразийство в межвоенный период не создало проектов общественных преобразований полностью тоталитарных. Явно видна тенденция к самоограничению, к уменьшению сферы общественной жизни, подчиненной властному контролю. Невозможно (несмотря на представленное выше наблюдение) предвидеть ход событий в ненаписанных и нереализованных сценариях, и тем самым нельзя точно оценить, чем было бы евразийство после завоевания власти.

Евразийство не обращалось к характерным для тоталитарных структур методам поведения, не предполагало типичной для зрелых тоталитарных систем всеобщей мобилизации общества, что указывает на существование авторитарных стремлений.

12. Модифицированное определение тоталитаризма Х. Линца и евразийство

Х. Линц создал схему трех линий континуума, указывающих на три различные черты тоталитаризма и авторитаризма: 1) мобилизация как оппозиция апатии; 2) партия нового типа, а на другом полюсе – правительство бюрократии/армии; 3) идеология (а, следовательно, политическая гностика) как оппозиция ментальности [54. S. 306]. В модифицированной версии, касающейся тоталитарного движения, черты тоталитаризма ослаблены. Это: 1) представление об идеальном общественном строе, в котором центральное место занимает монистический центр осуществления власти; 2) способом мышления является политическая гностика; 3) адекватный характер имеет личный пример, формулируемый и пропагандируемый в данной организации.

1. Если существование монистического центра осуществления власти ("движущей силы") не подлежит сомнению, то из этого вовсе не следует, что он должен был охватывать своим властным контролем все аспекты человеческой жизни.

2. Евразийская нация, трактуемая как симфоническая личность, – это воображаемое и персонифицированное общественное бытие. Однако это было общей категорией как для этого течения консерватизма, так и для тоталитарной политической гностики. Следовательно, евразийский способ мышления можно (принимая во внимание двойственный способ восприятия мира) классифицировать как располагающийся между первичным (первобытным) с одной стороны, традиционно консервативным с другой, и тоталитарным – с третьей. Слово "первобытный" понимается здесь шире, чем характерный исключительно для первобытных племен. Речь идет не только о резких различиях между своими и чужими, но и об использовании двойных норм морали и трактовании внешнего мира как угрозы. Следовательно, невозможно убедительно доказать, что евразийский способ мышления принадлежал исключительно к тоталитарному типу политической гностики.

3. В евразийской политической мысли мы не находим персонального образца в виде преувеличенного, деперсонифицированного вождя. В результате отсутствует четкая концепция сверхчеловека (*megantropos*), характерная для образцовой тоталитарной личности. По мнению Р. Руера, это создание, отождествляющееся с Космическим Человеком, персонифицированной Природой, Историей или Судьбой и одновременно таящее в себе душу, низводящее человека к вегетации (см. [55. S. 224]). Мы не находим у евразийцев культа героизма, максимализма целей. Однако мы имеем дело с признанием высшей силы, с одной стороны Природы (континента Евразии), а с другой Судьбы (исторической необходимости), которой обязательно следует

подчиняться. Одной из важнейших черт евразийской личности является подчинение власти. Если бы оно было, с одной стороны, мотивировано только желанием использовать власть, а с другой, – заключаться в полной покорности (вплоть до самоуничтожения), то можно было бы говорить о существовании тоталитарного личного образца. Однако для такой интерпретации не находится достаточного числа аргументов, чтобы можно было ее трактовать как достоверную. Можно утверждать, что личный образец евразийцев находится между авторитарным и тоталитарным идеальным типом человека.

И все межвоенное евразийство в целом располагалось между авторитарными, "первобытными", традиционно консервативными и тоталитарными структурами мышления, все более эволюционируя в направлении последних, однако никогда полностью не сливаясь с ними.

Перевод *О.Н. Майоровой*

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Luks L.* Die Ideologie der Eurasier im zeitgeschichtlichen Zusammenhang // *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas.* 1986. Т. 34.
2. *Дугин А.* Консервативная революция. М., 1994.
3. *Хоружий С.* Карсавин и де Местр // *Вопросы философии.* 1989. № 3.
4. *Rewolucja konserwatywna w Niemczech 1918–1933.* Poznań. 1999.
5. *Pomorski A.* Duchowy proletariusz. Przyczynek do dziejów lamarkizmu społecznego i rosyjskiego kosmizmu XIX–XX wieku (na marginesie antyutopii Andrieja Płatonowa). Warszawa. 1996.
6. *Трубецкой Н.* У дверей реакции? Революция? // *Евразийский временник.* 1923. № 3.
7. *Moeller van den Bruck A.* Das dritte Reich. Berlin. 1923.
8. *Moeller van den Bruck A.* Der politische Mensch. Breslau. 1933.
9. *Shlapentokh D.* Eurasianism. Past and Present // *Communist and Post-Communist Studies.* 1997. Vol. 30. № 2.
10. *Gawin D.* Rewolucja konserwatywna // *Przegląd Polityczny.* 1999. № 42.
11. *Riasanovsky N.* The Emergence of Eurasianism // *California Slavic Studies.* Los Angeles. 1967. Vol. IV.
12. *Ryszka F.* Literatura pod ciśnieniem historii. Katowice. 1967.
13. *Азурский М.* Идеология национал-большевизма. Paris. 1980.
14. *Lazari A.* Czy Moskwa będzie Trzecim Rzymem? *Studia o nacjonalizmie rosyjskim.* Katowice. 1996.
15. *Massaka I.* Z historii nacjonalizmu rosyjskiego. *Euroazjatyzm // Przegląd Rusycystyczny.* 1996. Z. 1–2 (73–74).
16. *Shlapentokh D.* Bolshevism, Nationalism and Statism: Soviet Ideology in Formation // *The Bolsheviks in Russian Society. The Revolution and the Civil Wars.* New Haven; London. 1997.
17. *Paradowski R.* Idea Rosji – Eurazji i naukowy nacjonalizm Lwa Gumilowa. Próba rekonstrukcji ideologii eurazjatyizmu. Warszawa. 1996.
18. *Суханек Л.* Россия, Европа и Восток в концепции евразийцев // *Slavia Orientalis.* 1994. Т. 43. № 1.
19. *Вернадский Г.* Два подвига св. Александра Невского // *Евразийский временник.* 1925. Т. 4.
20. *Vernadsky G.* The Mongols and Russia // *Vernadsky and Karpowich. A History of Russia.* New Haven. 1953. Vol. 3.
21. *Halperin Ch.* Russia and the steppe: George Vernadsky and Eurasianism // *Forschungen zur osteuropischen Geschichte.* Band 36. Otto Harrasowitz. Wiesbaden. 1985.
22. *Nowicka E.* Bunt i ucieczka. Zderzenie kultur i ruchy społeczne. Warszawa. 1972.
23. *Besançon A.* Les Origines Intellectuelles du Leninisme. Paris. 1977.
24. *Трубецкой Н.* Соблазн единения // *Вестник Московского университета.* 1992. Сер. 9. Философия. № 6.
25. *Faryno J.* *Pravda/Istina // Mentalność rosyjska.* Słownik. Katowice, 1995. S. 64.
26. *Карсавин Л.* Философия истории. Берлин, 1923.

27. *Paradowski R.* Obraz świata i urządzenie społeczeństwa. Lew Karsawin i ideologia euroazjatyizmu // Kultura i Społeczeństwo. 1996. № 2.
28. *Karsavin L.* Erwägungen über die russische Revolution // Der russische Gedanken. 1929/1930.
29. *Mirskij D.* The Eurasian Movement // The Slavic Review. 1927. Z. 6.
30. *Weststeijn W.* Aspects of Euroasianism // Structure and tradition in Russian Society. Helsinki. 1994.
31. Евразийство. Опыт систематического изложения. // Пути Евразии. М., 1992 (= Мир России – Евразия. Антология. М., 1995).
32. *Бердяев Н.* Евразийство // Россия между Европой и Азией: Евразийский соблазн. М., 1993.
33. *Трубецкой Н.* К проблеме русского самопознания. Париж, 1927.
34. *Bäcker R.* Totalitaryzm. Geneza; Istota; Upadek; Toruń. 1992.
35. *Bäcker R.* Gnoza polityczna systemu totalitarnego // Oblicza systemu komunistycznego w Polsce. W kręgu zła. Warszawa. 1997.
36. *Voegelin E.* Nowa nauka polityki. Warszawa. 1992.
37. *Суворинский П.* Эпоха веры // Исход к Востоку. София, 1922.
38. *Трубецкой Н.* Наследие Чингис-хана. Взгляд на русскую историю не с Запада, а с Востока. Берлин, 1925.
39. *Böss O.* Die Lehre der Eurasier. Ein Beitrag zur russischen Ideengeschichte des 20. Jahrhunderts. Wiesbaden. 1961. Band XV.
40. *Босс О.* Учение евразийцев // Начало. 1992. № 4.
41. Евразийство. Декларация. Формулировка. Тезисы. б/м., 1932.
42. *Paradowski R.* Rosyjski faszyzm // Dziś. 1996. № 2.
43. *Садовский Ю.* Из дневника евразийца // Евразийский временник. Берлин, 1925. Кн. 4.
44. Евразийство (Формулировка 1927 г.). М., 1927.
45. *Люкс Л.* Россия между Западом и Востоком. М., 1993.
46. *Алексеев М.* Евразийство и государство // Евразийская хроника. Берлин, 1935. Т. XI. (= Мир России – Евразия. Антология. М., 1995).
47. *Стенун Ф.* Жизнь и творчество. Берлин, 1923.
48. *Зернов Н.* Русское религиозное возрождение XX в. Париж, 1974.
49. *Duverger M.* Les partis politiques. Paris. 1958.
50. *Lefourt Cl.* Un homme en trop. Seuil. 1976.
51. *Thibaud P.* Od Gułagu do Oświęcimia: pułapki myśli antytotalitarnej // Aneks. 1988. № 51/52.
52. *Sawicki P.* Eurazjanizm. I. Idee i drogi literatury eurazyjskiej // Przegląd Współczesny. 1933. R. XII. T. XLV. Kraków, 1933; *Sawicki P.* Eurazjanizm. I. Idee i drogi literatury eurazyjskiej. Cz. II: Eurazjanizm. II. Eurazjanizm jako intencja dziejowa // Przegląd Współczesny. R. XII. T. XLV. Kraków, 1933.
53. *Hertz A.* Szkice o totalitaryzmie. Warszawa. 1994.
54. *Linz J.* Totalitaryzm i autorytaryzm // Władza i społeczeństwo. Warszawa. 1994.
55. *Wat A.* Świat na haku i pod kluczem. Warszawa. 1991.



© 2001 г. Р. ПАРАДОВСКИЙ

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЕВРАЗИЙСКОЙ КУЛЬТУРОЛОГИИ

В настоящее время культура становится объектом отдельной, хотя и междисциплинарной науки, которая, используя и развивая достижения различных научных дисциплин, от философии и социологии культуры до лингвистики и этнологии, формирует и определяет свои задачи, обращаясь к человеческому существованию как целостному явлению¹. Такие устремления имеют прецеденты. Одним из них является, по преимуществу культурологическая, хотя в определенной степени и идеологическая, доктрина евразийства. Евразийский подход к проблематике культуры выражается в поисках того, что подтверждало бы априорное положение об оригинальности и специфичности русской культуры. Такой подход требует выявления в культуре того, что присуще именно человеку, является надприродным, словом того, что составляет ее отличительные черты, конечно, при всех трудностях, связанных с отделением культуры от пограничных категорий. Эти трудности вполне разрешимы, принимая во внимание, что культура – при всей ее тотальности – все же не включает в себя всего, что нас окружает.

Евразийство² на первый взгляд кажется натуралистической концепцией, лишенной метакультурных принципов. Акцент на географию, на значение "месторазвития", а также на национальную специфичность может в определенной степени быть доводом в пользу такого его трактования. Однако, с другой стороны, настоящая мания сравнений: Восток – Запад, Европа – человечество, Россия – Европа, православие – католичество и т.д., но прежде всего открытая и сознательная постановка вопросов об объекте и "движущих силах всякого культурного развития" [3. С. 142] и явственный поиск критериев классификации культур не только в национальных категориях, а также, "last but not least", убеждение, что "в основе каждой культуры всегда лежат определенные духовные ценности" [3. С. 147], позволяют видеть в евразийстве важный источник культурологической инспирации.

Парадовский Рышард – профессор Университета им. Н. Коперника в Торuni.

¹ Попытки синтеза наук о культуре предпринимаются российскими гуманитариями уже более 30 лет; в настоящее время уже в рамках междисциплинарной науки культурологии. О современном состоянии проблемы см., например [1]. После того, как марксизм перестал быть официальной идеологией, развитие культурологии получило дополнительный импульс.

² Евразийство – одно из направлений общественной мысли русской эмиграции 20–30-х годов. Некоторые исследователи (А. Дугин, И. Кондаков и др.) относят его к направлению "консервативной революции". Уже в межвоенный период оно стало объектом научных интересов ряда польских ученых, в частности М. Здзеховского. В последнее время появились работы, посвященные евразийству. Этому способствовало возрождение интереса к этой доктрине в самой России как среди политиков и идеологов, так и среди ученых (см., например, [2]).

Согласно евразийской доктрине, культура не является сферой быта, данностью. Она является заданным, а значит создаваемым продуктом деятельности субъекта. Особо ярко заданность культуры подчеркивает Н. Алексеев, когда утверждает, что необходимо "построить новую культуру на осознанном синтезе Востока с Западом – культуру евразийскую" [3. С. 145]. Поскольку культура обладает свойством заданности, то субъект при ее создании должен руководствоваться проектом, планом, ориентироваться на определенные цели, реализовывать какие-то ценностные представления. Поэтому "всякое жизненное движение определяется некоторой идеологией и вытекающей из него системой конкретных задач" [4. С. 13]. Это "жизненное движение" – или культура – "определяется некоторой идеологией и вытекающей из нее системой конкретных задач", понимаемой не узко политически, а как генеральный план культуры, ее общая ориентация. Культура базируется на вечном и абсолютном, чем для Петра Савицкого, равно как для Николая Трубецкого и Николая Алексеева, является религия, вера, конечно же "подлинная", "религиозно подлинная" [4. С. 23].

Неподлинной верой является, например, коммунизм. Он наполняет своих сторонников религиозным энтузиазмом, но внутренне противоречив, поскольку "не ожидает терпеливо конечных результатов процесса, но старается с помощью насилия осуществить свои цели и ведет идеологическую борьбу". В данном случае Савицкий не совсем последователен: коммунизм действительно стремится реализовать свои цели с помощью насилия и ведет идеологическую войну, но трактует культуру как заданное, что евразийцами, хотя и в ином контексте, оценивается позитивно. Кроме того, коммунизм – фальшивая вера, ибо, апеллируя к науке, верит в то, что наукой было опровергнуто; хотя (и это можно Савицкому поставить в упрек) то, что является объектом веры, наукой не может быть ни опровергнуто, ни подтверждено. Справедливо и следующее: объект веры можно поставить под сомнение.

Следовательно, если идеология, понимаемая в широком смысле этого слова как доминанта культуры ("всякого жизненного движения", рассматриваемого как надприродное явление), подлинна, то она должна основываться не на псевдорелигии, например коммунизме, а на собственно религии, религиозной вере.

Савицкий считает, что религия (в прямом, а не в переносном смысле) – единственная основа такой идеологии; ожидаемое падение коммунизма может способствовать возрождению культуры ("жизнь развернет всю свою полноту и потенциальную энергию") только на прочном фундаменте религиозной веры. Он прямо утверждает, что либерализм, как и коммунизм, не может быть такой основой, ибо, базируясь на идее "замкнутого в самом себе социального атома", имеет фальшивое представление о личности как субъекте культуры, в то время как субъектом может быть только симфоническая личность – "живое и органическое единство противоположностей" [4. С. 21]. Фальшивой, ибо еретической, религией является также католицизм [4. С. 25].

Таким образом, перед нами уже три псевдотипа культуры или, если угодно, три типа псевдокультуры – либерализм, коммунизм, католицизм. При большем дроблении критериев в этот список можно включить "атеизм, материализм, социализм" [4. С. 26].

Синоним абсолютно подлинной религии – православие [4. С. 26, 27]. Православие не просто одно из течений христианства. Это высшее и единственное по своей полноте и чистоте христианское вероисповедание.

Мы видим у Савицкого два уровня рассуждений, требующих разделения: сущностный, в котором доминирует разделение на подлинную и фальшивую веру, а значит на подлинную и фальшивую культуру, и формальный, который включает понятие культуры как задания (т.е. чего-то заданного, а не данного. Аналогично рассматривает эту проблему Алексеев): идеология как "смысл и сущность" культуры, а значит своеобразная "культурная доминанта" и "вера" как "абсолютная" основа этой доминанты, некий метафизический элемент, содержащийся, согласно Савицкому, только в религиозной вере. Все это мы найдем в православной вере, хотя и не только

в ней, если признаем, что "основополагающее, метафическое" не обязательно имеет религиозный характер, что могут быть разные метафизики, разные системы "начал", разные внутренне однородные и культурно функциональные системы ценностей. Такой сюжет, как известно, присутствует в евразийстве в виде "бытового исповедничества", а значит сильно акцентированного функционального аспекта религии, в чем евразийцев упрекал Флоровский [5. С. 206]. Возможность выхода за пределы отождествления культуры и религии (а точнее – религии и сути культуры) заключается в понятии "идеи – сил", а особенно в трактовании «"того, что духовное", как порождение энергии и силы» [3. С. 142]. О таких нюансах надо всегда помнить. Они свидетельствуют о том, что несмотря на догматические декларации, культурология евразийства не замкнулась в рамках некоей неканонической теологии.

Кроме христианства есть язычество, еретичество, раскол. Потенциально их можно признать тремя типами псевдокультуры, которые, несмотря на все недостатки, как и упомянутые коммунизм и либерализм, не говоря о католицизме, на протяжении столетий как-то организующем культуру, выполняют функцию веры. Конечно, признание этого факта возможно только при отрицании или по крайней мере игнорировании критерия правдивости и замене его функциональным критерием, учитывающим существование относительно больших групп людей, в рамках которых благодаря действиям субъектов систематически репродуцируются система ценностей и похожие на религиозные "эмоции и чувства". "Внушаемые массам настроения, – говорит Алексеев о коммунизме, – являются формами титанического пафоса, вдохновения и возвышения, также как религиозные эмоции и чувства". Отсюда амбивалентное отношение евразийцев к большевизму, который, с одной стороны, "действует с помощью насилия", но зато, с другой, его характеризует типичное для всего Востока "религиозное горение" [3. С. 146]. Как мы уже знаем, вопрос о системе ценностей как основы всякой культуры Алексеев ставит так: "В основе всякой культуры всегда лежат некоторые духовные ценности" [3. С. 147], не уточняя, делит ли он их на подлинные и фальшивые; опосредованно, однако, делит, коль скоро их единственным источником в конечном счете является религия.

На формальном уровне существует проблема субъекта; коль скоро культура является заданием, то кто же его выполняет? Для Савицкого, Льва Карсавина, Алексеева этим кем-то является национальная либо наднациональная общность, лицо симфоническое, но можно представить себе в этой роли и какой-нибудь иной субъект. Более того, соотношение между верой, идеологией, субъектом, культурой может и не быть таким, как это представлял Савицкий и в целом евразийцы (Трубецкой, Алексеев, а также Карсавин). Система ценностей, связанная с "верой", не должна быть "данной", как в религии, а следовательно требующей только принятия (или веры), конкретных разрешений и запретов (идеология) и воплощения в жизнь симфонической (и единичной) личностью, на чем собственно основывается с точки зрения евразийцев культура как задание. "Задание" имеет более глубокий смысл; оно не только воплощает некую ценность ("идею", некое "начало" или "энергию и силу"), но и создает их. Субъекты могут не только реализовывать систему ценностей, но и принимать участие в ее созидании. Каковы же эти "начала" и как их создают субъекты творчества? Каковы "начала" православия, католицизма, либерализма, "язычества", понимаемых как типы (или квазитипы) культуры? В какой степени можно в данном случае применить понятие, введенное Алексеевым, об "энергии и силе"? Ответ на этот вопрос может подтвердить (в теории, конечно) особый статус православия, но может также показать, что православие вовсе не стоит особняком, потому что ценностным типом является не только католицизм, но и – о ужас! – коммунизм. Если бы этим "началом" были энергия и сила (при условии уточнения этих категорий), такой вывод был бы обоснованным.

Особый статус, согласно Савицкому, имеет "язычество" (у Савицкого без кавычек) как подтип культуры. Поскольку "язычество является потенциальным православием" [4. С. 28] ("Будущее и возможное православие нашего язычества нам роднее и ближе,

чем христианское инославие" [4. С. 30]), то в классификации культур оно помещено между единственным истинно христианским православием и псевдокультурами (значит существует какое-то чистилище, если и не религиозное, то по крайней мере культурное). У язычества ведь есть своя квазиидеология (доминанта) в виде магии. Все псевдокультуры, согласно Савицкому, являются потенциальным православием; в том случае, если они хотят вернуться к правде, то должны добровольно обратиться в православие [4. С. 28]. С этим можно согласиться при трех условиях: 1) в случае принятия тезиса о том, что именно католичество является схизмой, а не наоборот; 2) в случае признания, что религия – это последняя инстанция культуры и 3) надо абстрагироваться от существования нехристианских религий. Все это касается прежде всего католицизма, поскольку протестантизму Савицкий склонен дать статус близкий к язычеству, а значит потенциального православия. Из этого следует, что язычество и протестантизм могут быть большим, чем квазитип, хотя и меньшим, чем тип ("ищет и хочет учиться и познавать", – значит когда-нибудь найдут, – а "католичество закончилось и упорствует в своем заблуждении", таким образом, у него нет шансов превратиться в православие и тем самым – в настоящую культуру).

Поиск различий между католицизмом и православием и их особое акцентирование у евразийцев (и у других представителей "русской идеи") превратились в своеобразную манию; возможно, это подсознательная попытка скрыть то, что в этих религиях общее. Этим общим могла бы быть уже упоминавшаяся "сила", скрывающаяся за христианской обязанностью смирения и послушания как культуруобразующего "начала", отличного и даже противостоящего принципу свободы³.

Если культура ("данная культура") характеризуется не только общим религиозным принципом, типичным для всех религий, но конкретной религией, к тому же оцениваемой в категориях подлинности и фальши как единственно подлинная, то неудивительно, что из такой оценки следует вывод, что наиболее адекватной ей формой существования является организационная форма существования данной религии, то есть Церковь. Поэтому мы не удивляемся, когда узнаем, что наиболее адекватная форма существования для русской культуры – православная церковь [4. С. 33]. "Истинной формой личного бытия, как индивидуального, так и симфонического (а, значит, культуры. – Р.П.), является бытие церковное" [4. С. 47]. Неудивительно также, что подкрепленный аргументами типа: православная вера является культурной доминантой, вывод о том, что "общество – культура" должно быть церковью, выглядит вполне убедительным. В данном случае возникает вопрос даже не о том, правилен ли вывод о церкви как форме существования культуры, а о том, не подобраны ли доказательства таким образом, чтобы он напрашивался сам собой.

На критерий оценок в данном случае влияют два фактора: во-первых, он основывается на противопоставлении подлинности и фальши, а не на различии функциональных и нефункциональных систем культурных ценностей, а, во-вторых, – тип культуры отождествляется с народом. Таким образом, декларируется, что культура народа есть культура определенного типа, в то время как, по крайней мере, таким же справедливым была бы не субстанциональная, а эмпирическая трактовка национальной культуры: как формы сосуществования и не антагонистического соперничества типологически разных культур. В случае с евразийством мы имеем дело с более или менее произвольным признанием одного типа культуры "национальной" (например в Польше: "католическая" культура – национальная, а "православная" и "евангели-

³ На тему систем ценностей, конституирующих культурную доминанту, см., например, [6]. Очевидно, общекультурный принцип послушания присутствует в евразийстве в виде концепции "тяглого государства", противостоящего правовому государству. Особенно важен в этом случае тот факт, что согласно евразийской теории, государство – это форма существования культуры, уступающая рангом только церкви (см.: [4. С. 47; 7. С. 602–604]). О противопоставлении Алексеевым "тяглого государства" правовому А. Дугин пишет в большом предисловии к трудам этого ученого, опубликованным в книге "Русский народ и государство".

ческая" – чуждые, "инородные"). Заметим по этому поводу: культуры могут находиться в равновесии, но одна из них может и явно доминировать, что вовсе не означает, что более слабая (в смысле числа ее носителей) становится чуждой, инонациональной и т.д.

Доминанта (например, православная религия) может соединять противоположные системы ценностей – так их специфическим образом соединяют христианство, как и каждая культура⁴, – но таким образом, чтобы отдавать предпочтение одной системе ценностей, другую же загоняя в своеобразное гетто, затрудняя ей превращение в полноценную культуру. Признание церкви адекватной формой культуры имеет целью загнать в гетто всякую иную культуру, метафизическую основу которой доминанта не игнорирует, но стремится ограничить. На примере русской культуры мы видим последствия упорной и последовательной дискриминации свободы как универсального "культурного начала": "воля", бунты, резня, абсолютизация революционных принципов, нигилизм, анархизм и терроризм, в лучшем случае проводится четкая грань между частной жизнью (кухня), частично-коллективной ("соборный народ" славянофилов и Александра Солженицына, по крайней мере со времени написания "Письма вождям Советского Союза", возможно, диссидентство) и государственной политикой, полное отсутствие общественной жизни и гражданского общества.

Отождествление данной культуры с культурой национальной имеет основой (предпосылкой) отделение подлинности от фальши. Хотя в народе есть язычники, коммунисты и либералы, не говоря уже об атеистах и материалистах (впрочем, вряд ли "атеизм" и "материализм" могут выступать в качестве функциональной культурной доминанты), признание коммунизма фальшивой верой, а либерализма – механистическим и атомистическим, а следовательно, тоже фальшивым позволяет поставить все фальшивое вне национальной культуры как исключительно негативное. Используя нашу терминологию, все вышеперечисленное является культурно нефункциональным и даже дисфункциональным. Хорошей (функциональной) не может быть культура, не основанная на правде, а правда, как мы уже знаем, на стороне православия. Однако почему дело обстоит именно так, непонятно. Очевидно, православие не нуждается в "оправдании". Зато абсолютно понятно, почему неправдивы либерализм и коммунизм. Причины – механицизм, атомизм, псевдонаучность, насилие.

Коммунизм, согласно Савицкому, является культурой с минусовым знаком. У него есть своя вера: материализм, классовое строение общества и класс как субъект культуры, историческая, в том числе и в области культуры, миссия пролетариата. Эта вера побуждает народные массы к действиям, имеет свои священные книги, подвергаемые интерпретации, но не критике, "у нее есть свои святые и похожая на церковную организация" [4. С. 23].

Меньше мы узнаем от Савицкого о сущности возможных претензий либерализма на бытие хотя бы в качестве псевдокультуры. Верой либерализма могла бы быть "общечеловеческая религия" [4. С. 46] (что-то вроде "гражданской религии", которую пытались сконструировать некоторые либералы), а субъектом культуры могла бы быть личность. Здесь Савицкий нелогичен, ибо, по его мнению, в либерализме личность механистична и изолирована от общества⁵. По сути дела полноценными альтернативами российско-православно-евразийской культуре могут быть только коммунизм и, конечно, католицизм – у них есть все для этого необходимое, но только неправдивое. По формальным признакам – это культуры, а по сути – анти-

⁴ Такими противоположными принципами, соединенными христианством, причем в одной и той же заповеди, являются безусловное повиновение и любовь к ближнему.

⁵ Значение, которое Трубецкой придает индивидуальному самопознанию (у него личность познает себя главным образом как представителя данного народа, но не только; "каждый человек познает себя также как представитель данного народа"), дает возможность, хотя и не обязательно в рамках евразийства, поставить вопрос о роли личности не только в создании "культурных ценностей", но и "культурных начал" [8. С. 10].

культуры. Согласно евразийской теории, хотя и не только ей, не может существовать лишь радикально нерелигиозная (не обязательно антирелигиозная) культура – либерализм⁶.

В связи со сформулированным в нем призывом к "переходу в православие" евразийский глобализм не только получает геополитическое обоснование, например у Александра Дугина [11], но и культурно-религиозное: "инославие", как и "иноверие", если они действительно искренне хотят подлинности, должны, конечно, добровольно прийти к православию [4. С. 28]. "В идеале и по сути своей весь мир – это единая соборная вселенская Церковь" и, безусловно, – церковь православная, коль скоро подлинность только с православием. Это, кстати, противоречит утверждениям евразийцев, что общечеловеческая культура не существует⁷. Значит, все-таки существует, хотя только потенциально. Евразийцы были убеждены, что подлинность – "соборная", а, следовательно, – коллективно-церковная. "По существу религия создает и определяет культуру", – утверждает Савицкий [4. С. 36]. Такое категорическое утверждение не может не вызвать – в который уже раз – такой же однозначный вопрос: разве только религия? И разве только "подлинная" религия, в роли которой в данном случае выступает православие? На первый из этих вопросов отвечает Савицкий: нет, не только религия, но и в определенной степени магия как доминанта потенциально православной языческой культуры творит и детерминирует культуру. Иные религии и идеи не создают подлинной культуры. Евразийство, которое, как мы знаем, поставило перед собой задачу создать после крушения коммунизма правдивую культуру, может быть только идеологической конкретизацией православия.

Итак, русская церковь тождественна русской культуре. "Ни культура, ни государство не находятся вне Церкви" [4. С. 34]. "Культура и государство – начально организованный материал собственного, своего церковного бытия" [4. С. 34]. "Православная русская Церковь эмпирически и есть русская культура, становящаяся Церковью" [4. С. 35].

Подведем предварительные итоги:

1. Церковь – это цель, сущность и даже культура в целом. Субъект этой культуры – симфоническая личность – Россия – Евразия. В этом смысле культура является "народной", а кроме того и "подлинной"; 2. Православие основано на подлинности, католицизм, коммунизм, либерализм – на фальши. Это не только православный, но общехристианский культурологический принцип – дуализм подлинности и фальши. Поскольку "Мы" не можем ошибаться, то это одновременно дуализм нашего и чужого; 3. основополагающая оппозиция этой культурологии – противопоставление чужой культуры нашей. Среди чужих культур потенциально нашей является та, которая в конце концов "добровольно" признает нашу правду своей, а враждебной – та, которая скорее всего никогда ее не признает.

⁶ В связи с этой проблемой интересно рассмотреть амбивалентный подход к либерализму такого критика евразийства, как Н. Бердяев. "Либеральная идея не обладает способностью превращаться в подобие религии", – утверждает Бердяев, конечно, полагая это недостатком. Но одновременно он утверждает, что "в истоках либеральной идеи есть большая связь с онтологическим ядром жизни". Более того, согласно Бердяеву, "либерализм нельзя обосновать позитивистически, его можно обосновать лишь метафизически". Другое дело, что в данном случае Бердяев имеет в виду религиозную метафизику, что лишь частично сближает его с евразийцами, которые отказывают либерализму в каком-либо глубоком смысле. Бердяев в противоположность принципиально антилиберально настроенным евразийцам (коммунистам, фашистам и т.д.) демонстрирует подход к проблеме типичный для так называемого христианского либерализма. "Либерализм влачит существование, лишенное всех онтологических основ", – заявляет он вопреки своим предыдущим утверждениям. Можно, однако, сохранить и либерализм при условии включения в него христианской концепции свободы как правды (см.: [9. С. 310–312, 314]). Концепция Бердяева не только амбивалентна, но и внутренне противоречива. Вне контекста либерализма философ признает за свободой первенство перед Богом, а значит и перед правдой (см.: [10]). К амбиваленции и антинормности к тому же прибавляется еще и непонимание либерализма: "если человек лишь... рефлекс внешних условий", но ведь это никогда не было принципом либерализма [9. С. 316].

⁷ "Общечеловеческая культура, одинаковая для всех народов, невозможна" [8. С. 111].

Возможна ли культурология, основанная на других ценностных критериях? Это уже метакультурологическая и даже скорее метафизическая проблема. Для ее решения надо ответить на следующие вопросы:

1. Каков источник возникновения культурных ценностей (высшего бытия)? 2. Каков механизм их возникновения? 3. Кто их создает? 4. В какой момент они возникают? 5. Какие ценностные системы существуют? 6. Как выглядит культурная функциональность-дисфункциональность таких ценностей? 7. Как эти ценности конкретизируются в культурных доминантах?

Главная теоретическая, а также культурно-политическая проблема, возникшая в связи с евразийской культурологией, следующая: может ли основой (доминантой) культуры (при этом необязательно псевдокультуры) быть, как утверждают евразийцы и не только они, лишь религия (абстрагируемся от того, православная она или нет) или же еще что-то. Своей концепцией "идеи" и "силы" евразийцы, вероятно бессознательно, такую возможность допускают.

Религия предлагает систему ценностей, а значит относит культуру к метафизической сфере. Если только религия... то на метафизическом уровне культуры между собой не различаются, и в этом смысле разнородность культур не касается метафизической сферы. Классификации, апеллирующие к религии, вынуждены оперировать критериями правды и фальши. Несвободны от этого дуализма также классификации культур, основанные на этническом принципе. Ярким примером этого являются "этнические химеры", представленные во второй части книги неоевразийца Льва Гумилева [12]. Действительно ли религия является единственным источником культурных ценностей? Только ли "религия создает и определяет культуру"? [12. С. 36]. Возьмем за основу не только евразийский, но и общерусский культурный мотив – выбор между латинским (романо-германским) Западом и Византией. Этот мотив особенно подробно рассматривается историками, а те из них, например, Гумилев, кто одобряет выбор восточного христианства, находят аргументы в его пользу. Но если оставить в стороне утверждение, что не Россия выбрала православие, а православие – Россию, то прежде всего надо отметить, что было выбрано православие, а отвергнута, или во всяком случае отодвинута на второй план, дохристианская культура. Отодвинута, но не прекратила своей конкуренции с христианством и в значительной степени с ним перемешалась. Если русская культура была "христианско-языческой", то уместен вопрос: то, что было до христианства, – это была действительно религия или что-то другое? Можно, однако, предположить, что магия – культурная доминанта "язычества", доминанта архаической культуры, была чем-то другим. В таком случае какие же "начала" встретились друг с другом и перемешались? И это опять вопрос об основе: какая основа, основополагающая суть бытия, превратилась в магию и какая (та же самая или другая) – в религию. И если основа бытия не одна, а наверняка так оно и есть, то какая из них, оформляясь в религию (доминанту традиционной культуры), усвоила принципы архаичной культуры, доминантой которой была магия, и каких принципов она не могла усвоить? Все вышесказанное вызвало то, что культура народа в связи с доминированием религии, не имея возможности найти адекватных и развитых культурных форм для третьей (не магической и не религиозной) основы, осталась внутренне неустойчивой. Это произошло потому, что она не смогла найти нужных пропорций между крайним духовным и политическим деспотизмом (официальным православием и самодержавием) и крайним анархизмом, пресловутой "волей".

Каковы же эти три "основы" ("начала") и откуда они взялись? Из самой природы? Если они относятся к высшему бытию, то они не могли происходить из природы или, во всяком случае, только из природы. Может быть, они исходят от Бога? Но от какого Бога? И откуда мы можем это узнать? Из устной традиции – от священников, из письменной традиции – из священных книг? А откуда об этом знают священники или авторы письменных сообщений? Цепочка источников такого рода бесконечна, и значит мы ни в чем не можем быть уверены. Что же мы, они, наконец Я можем знать

наверняка? Эти вопросы возникают при изучении евразийской концепции культуры, "национальной по форме, православной по содержанию". Но ответы на них надо искать вне евразийства.

Евразийцы заявляют, что основополагающим в их доктрине является понятие личности [8. С. 94; 4. С. 21; 3. С. 146]. Правда, они указывают, что существует индивидуальная личность, но даже если она что-нибудь создает (а мы в данном случае ищем ответ на вопрос о субъекте культуры как задания, миссии), то только как часть того целого, которое называется симфонической личностью. Это может быть какая-то корпорация, народ, суперэтнос (как у Гумилева), безусловно – Церковь, и в исключительных случаях (как у Карсавина) – все человечество. Именно в исключительных случаях, потому что, хотя симфонические личности одновременно являются субъектами культуры, но в этом последнем статусе евразийцы отказывают человечеству. С ними можно согласиться в том, что не существует интегральная, единая общечеловеческая культура, но и интегральная и единая "культура народа" – весьма проблематична. Невнимание евразийцев к индивидуальной личности как к субъекту происходит вовсе не от того, что, по их мнению, она не создает "культурных ценностей". Этого евразийцы не отрицают. Оно вызвано также и не тем, что есть проблемы с "общечеловеческой культурой". Проблемы возникают в связи с вопросом создания ценностей как таковых, ценностей общечеловеческих, не являющихся (по сути, а не по форме) ценностями народными. Народ создает народные ценности, корпорация – корпоративные, Церковь, даже понимаемая соборно, – только церковные. Кто же в таком случае создает общечеловеческие ценности (ведь невозможно отрицать их существования), и что это такое: общечеловеческие ценности?⁸ Если такой ценностью является христианская "правда", то на чем основываются нехристианские культуры? Мы же не можем принять тезис Савицкого, что они основываются на неправде или только на потенции православной правды.

В своих рассуждениях на тему русской культуры евразийцы исходят из общепринятого и очевидного убеждения, что она самобытна⁹. Если бы так не было, то она бы не отличалась от других культур, была бы частью иной культуры. Это упорное акцентирование внимания на самобытности вызывает подозрение, что русские (или, по крайней мере, их идеологи) не уверены в своей идентичности; не только в том, кто они такие: азиаты или европейцы, славяне или туранцы и т.д., но и в том, являются ли они вообще кем-нибудь. Глубокое сомнение в этом в их душах (может быть, только в душах части интеллигенции) посеял Чаадаев. Я не буду в данном случае касаться этой интересной проблемы, поскольку она больше относится к сфере психологии, чем культурологии, хотя также и к культурологии. Вопрос о том, что же в русской культуре вызывает неуверенность в своей идентичности, конечно же имеет не только психологический, но и культурологический смысл. Во всяком случае я не собираюсь ставить его так: являются ли русские кем-нибудь. Ответ на него очевиден. Он в свою очередь не прорывается из того, что русские являются народом и как таковой должны иметь свою оригинальную культуру. Принцип здесь иной: каждый человек принадлежит к какой-либо культуре и участвует в ее созидании. Это не снимает вопроса о проблематичном характере русской национальной идентичности, но переносит его на другой уровень: каковы системы, круги, типы или подтипы культуры, в рамках которых живут *отдельные* русские.

Но вернемся к евразийцам. Каждая культура (в том числе и культура народа) –

⁸ Христианское утверждение, что "человек – это помощник Бога" в процессе творения, вовсе не означает, что им не может быть симфоническая личность [3. С. 153].

⁹ Научная позиция евразийцев заставляет их избегать абсолютизации этой проблемы. "С внешней точки зрения, – пишет Савицкий, – нет самостоятельных культур, ибо ни одна из них не свалилась готовой с неба (это как раз и противоречит признанию религии основой всякой культуры. – Р.П.), но все родились в какой-то уже существующей среде других культур. Но по существу всякая культура в существенном смысле этого слова самобытна..." [4. С. 40].

самобытна, вот только в какой степени: могут ли разные культуры иметь между собой что-либо общее, и что именно. Это общее не может быть "народным", потому что именно этим культуры друг от друга и отличаются. Возникает проблема сравнения, а значит и классификации культур, поиска ее существенных принципов и критериев. Если "народное" отличает культуры друг от друга, то остаются следующие возможности:

1) народное отличается абсолютно, следовательно, всякое сравнение беспредметно, а единственной сравнительной категорией является абсолютная чуждость, и, кажется, евразийцы близки к такому убеждению; 2) народное принципиально отличается друг от друга, а значит возможны исключения из правил, которые позволяют группировать культуры. Именно такова позиция евразийцев, "скорректированный абсолютизм". Категория чуждости остается комплементарной по отношению к самобытности, однако, с определенными оговорками. Это вызывает – к счастью, иначе концепция была бы убогой, политизированной – необходимость определения существенной структуры культуры. Если она народная – это очень важная для евразийцев категория при всей оригинальности ее понимания, – то она уже и не только народная в узком смысле этого слова.

Для евразийцев культура является прежде всего народной и как таковая – русско-евразийской. Только будучи народной она сможет заново стать действительно евразийско-русской. Как известно, евразийство (Трубецкой и прежде всего Алексеев) понимает культуру как задание, но ее можно и нужно формировать, ибо евразийскость составляет ее сущность. Трубецкой кроме того формулирует это задание как реализацию личностью ("как индивидуально-человеческой, так и многочеловеческой народом") своей истинной природы. Все евразийцы представляют русскую культуру, евразийской, но ее сущность ищут глубже. Трубецкой предлагает искать ее в теории личности, на что можно и не обращать внимания ввиду того, что понятия "личность" и "народ" – практически синонимы. Даже в индивидуальной личности евразийцев трудно найти что-либо вне народа, тем более, что "природа личности, – как утверждает Трубецкой, – находит окончательное решение в богословии" [8. С. 98]. Таким образом, теология является метатеорией культуры.

Евразийская культура евразийцев характеризуется категорией самобытности, но не только. В такой же степени она определяется и отношением к другой культуре, главным образом западной. Задача создания будущей культуры требует "преодоления Запада" (преодоления его активизма, энергетика, продуктивизма, материализма и атеизма [3. С. 144]) прежде всего в самой реально существующей русской культуре, как чужеродного и враждебного элемента. Однако не все чужое враждебно. «Потому-то так знаменательно, что Емельян Пугачев, стоя под знаменем старообрядчества, отвергающего "поганых латын и лютеров", не находил ничего предосудительного в объединении с башкирами и прочими представителями не только инославского, но даже иноверного туранского Востока», – замечает Трубецкой [8. С. 134]. Интересно, однако, что первая такая иностранная "прививка", отвергнутая народом, была византийской. Реакция Руси на христианизацию тонет во мраке веков, но она, безусловно, была неоднозначной. Зато известно, какой была народная реакция на неовизантийскую модернизацию по сути дела византийской веры – раскол!¹⁰ Таким образом, антиевропейскость, антизападничество не являются достигающим метафизической глубины абсолютным атрибутом русской культуры.

Общий знаменатель чуждых, но не враждебных культур Трубецкой видит в общем (или сходном) менталитете. Непохож на Западе, зато похож на Востоке. Отсюда "Исход к Востоку"¹¹. Сходство настолько большое, что из этих ментально сходных

¹⁰ Антизападники – и в этом им нельзя отказать в наблюдательности – видят здесь пример антизападного иррационализма русского народа, протестующего против рационалистического исправления того, что по своей природе не рационально.

¹¹ Название сборника трудов Н. Трубецкого, Н. Алексеева, П. Савицкого, изданного в Софии в 1921 г., фактического программного манифеста евразийства.

культур возник евразийский культурный тип. Об этом свидетельствует язык, но главным образом песни, музыка, танцы, внешность, наконец – политика [8. С. 129–132]. Если и можно, согласно евразийской теории, говорить о типологическом различии, то только на оси Россия – Запад, Россия – Европа.

Проблему типологических различий на оси Восток – Запад, как говорилось выше, рассмотрел Алексеев. Его не удовлетворяют ни классификация Шпенглера [3. С. 148], ни являющаяся ее разновидностью классификация Фробениуса. Согласно последнему, человек Востока не считает мир своим домом, "чувствует себя в нем как в пещере", в то время как человек Запада "живет в нем как в своем доме и ощущает его безграничность" [3. С. 148]. Этот пример, согласно Алексееву, неудовлетворителен, поскольку оперирует только характерной для Запада категорией пространства и был им приведен скорее в качестве иллюстрации правильного разделения на Восток и Запад. И поэтому, предлагая свою собственную классификацию культур, базирующуюся на сущностных принципах, приводит этот пример для лучшего, по его мнению, объяснения различия культур Запада и Востока.

Культуры, по Алексееву, различаются между собой тем, что в одних "все культурное творчество" наполнено стремлением к имманентному ("посюстороннее"), а в других – к трансцендентному ("потустороннее"). Чтобы не было сомнения в том, что речь идет о сущности культуры, Алексеев говорит о "последнем двигательном мотиве" [3. С. 149], созидающих культуру действий людей. Однако эти специфические "силы" ("идеи-силы", "энергия и силы") не глубже критериев различий, установленных тем же Савициким и апеллирующих к православию и православной Церкви, коль скоро разделение на имманентное и трансцендентное совпадает не только с разделением на Восток и Запад, но и на православие и католицизм [3. С. 149]. То же самое относится к разделению на покой и движение и практичность и теоретичность. В конечном счете мы так и не выяснили, какая человеческая, а не культурная ценность есть основа культурного превосходства одной веры над другой, если только понятие "ценности" не будет, как у Алексеева, сведено к темпераменту. Чем же иным, если не темпераментом, вызваны указанные различия? Речь конечно же не идет об отрицании значения темперамента, хотя здесь можно усмотреть упрощение и стереотип. В данном случае, несмотря на декларации евразийцев, и в том числе самого Алексеева, эти различия не связаны с вопросом о культурных ценностях, потому что ничего не говорят о проблеме выбора. Очевидно, культура действительно является заданием, но ее "план" – ценности, составляющие ее фундамент – дан заранее религией, и в случае евразийства – православной.

Евразийцы декларируют – особенно ярко это видно у Алексеева – намерение "единения" Востока с Западом. Оно должно заключаться в соединении "вновь проявляющейся трансценденции" с земской практикой, "энергетики" с неподвижностью. Но означало бы это также и объединение в рамках евразийства православия с католицизмом – об этом Алексеев напрямую не говорит. Создается, однако, впечатление, что коль скоро евразийство является заданием, а такие широкомасштабные задания перед собой ставит сформированная католицизмом западная культура, отличающаяся "активизмом, энергетикой, продуктивизмом", то оно скорее продукт католического (как мы его себе представляем), нежели православного духа. Если мы к этому добавим, что политический идеал евразийцев – это организационное устройство католической церкви или по крайней мере католических орденов и даже масонство [13. С. 172–174], то несмотря на все изъявления преданности евразийцев традиционной русской культуре, приходится констатировать, что евразийство с его теорией культуры что-то вроде "троянского коня" Запада. Другое дело, какой аспект, какую частичку Запада, какую западную культурную традицию евразийство хочет пересадить на русскую почву.

С одной стороны, чуждая русскому менталитету западная культура, лишенная, согласно евразийской интерпретации, внутренних различий, с другой стороны, соединение огня с водой: евразийско интерпретированного Запада с евразийско же интер-

претированным Востоком. Из культурологической концепции здесь выглядывает идеологическое намерение: укрепление византийской традиции политически более эффективным западным авторитаризмом. "Соединение Востока с Западом" реально выглядит, конечно, по-другому. Последняя декада XX в. продемонстрировала попытку соединения российской политики и культуры с совсем иными аспектами западного образа жизни. Нужно, однако, помнить, что у евразийцев была и есть своя концепция такого соединения; и вполне возможно именно ей может принадлежать ближайшее будущее. Именно таким, соединяющим византийскую симфонию императорской власти и Церкви с европейской консервативной революцией (а значит, целиком по-евразийски), видит его нынешнее неоевразийство – самая влиятельная в современной России идеологическая концепция.

Перевод А.В. Болдова

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Флиер А.* Современная культурология: Объект, предмет, культура // *Общественные науки и современность.* СПб., 1997; *Культурология. XX век. Словарь.* СПб., 1996; *Левит С.* Культурология как интегральная область знаний // *Культурология. XX век. Антология.* М., 1995.
2. *Paradowski R.* Idea Rosji – Eurazji i naukowy nacjonalizm Lwa Gumilewa. Próba rekonstrukcji ideologii eurazjatyizmu. Warszawa, 1996; *Paradowski R.* Eurazjatyckie imperium Rosji. Studium idei. Toruń, 2001; *Między Europą i Azją. Idea Rosji – Eurazji.* Toruń, 1998 / Pod red. S. Grzybowskiego; *Backer R.* Międzywojenny eurazjatyzm. Łódź, 2000; *Eurazjatyzm // Idea w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski.* Łódź, 1999. Т. 1.
3. *Алексеев Н.* Духовные предпосылки евразийской культуры // *Русский народ и государство.* М., 1998.
4. *Савицкий П.* Евразийство. Опыт систематического изложения // *Континент Евразия.* М., 1997.
5. *Флоровский Г.* Евразийский соблазн // *Новый мир.* 1991. № 1.
6. *Paradowski R.* Rewolucja 1989 roku w Polsce. Interpretacja filozoficzna // *Przegląd Politologiczny.* 1999. № 1–2.
7. *Алексеев Н.Н.* О гарантийном государстве // *Русский народ и государство.* М., 1998.
8. *Трубецкой Н.* К проблеме русского самосознания // *Наследие Чингисхана.* М., 1999.
9. *Бердяев Н.* Философия неравенства. Письмо седьмое. О либерализме // *Опыт русского либерализма. Антология.* М., 1997.
10. *Бердяев Н.* Опыт эсхатологической метафизики. Paris, 1947.
11. *Дугин А.* Основы геополитики. Геополитическое будущее России. М., 1997.
12. *Гумилев Л.Н.* Князь Святослав Игоревич // *Наш современник.* 1991. № 7.
13. *Алексеев Н.* Евразийство и государство // *Русский народ и государство.* М., 1998.



© 2001 г. В.В. МАРЬИНА

ЧЕХОСЛОВАКИЯ: ОТ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО К ДВУНАЦИОНАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВУ. 1944–1948 ГОДЫ¹

В 1918 г. Чехословакия по существу возникла как многонациональное государство. Согласно переписи населения 1930 г., из 14729 тыс. ее жителей было 7426 тыс. чехов (50,5%), 2295 тыс. словаков (15,6%), 3318 тыс. немцев (22,5%), 720 тыс. венгров (4,9%), 569 тыс. подкарпатских украинцев (именовавших себя также русинами) (3,9%), 205 тыс. евреев (1,4%), а также менее чем по 1% поляков, цыган, румын и югославов [1. S. 523]. В марте 1939 г. усилиями гитлеровской Германии и следовавшей в ее фарватере хортистской Венгрии ЧСР была расчленена на три части: Протекторат Богемия и Моравия, включенный в состав третьего рейха, формально самостоятельное, но по сути полностью зависимое от Германии Словацкое государство, получившее осенью 1939 г. наименование Словацкая республика (СР), и Подкарпатскую Русь, присоединенную к Венгрии на правах автономии [1. S. 32–33].

Сложивший с себя полномочия и эмигрировавший в октябре 1938 г. на Запад президент ЧСР Э. Бенеш, возглавив борьбу за восстановление Чехословакии в до-мюнхенских границах, выдвинул и последовательно в течение всей войны отстаивал идею выселения с территории освобожденной ЧСР немцев и венгров (кроме антифашистов), которых он считал повинными в крушении республики. Воссозданная Чехословакия, по Бенешу, должна была стать государством трех равноправных славянских народов: чехов, словаков и карпатских украинцев. Реализовать эту идею после войны в полном объеме оказалось невозможно. Подкарпатская Русь в июне 1945 г. на основе договора между Советским Союзом и Чехословакией была включена в состав СССР на правах Закарпатской области УССР (см. подробнее: [2]). Выселения венгров из Словакии добиться не удалось, как и произвести полный обмен венгерского и словацкого населения между Чехословакией и Венгрией. Только немцы на основе решений Потсдамской конференции были в 1945–1947 гг. переселены в Германию. До конца 1946 г. преобладающая часть немецкого населения – 2 256 тыс. – покинула территорию ЧСР. В 1950 г. в ней проживало 165 тыс. немцев, что составляло 1,3% жителей страны. Основную массу населения ЧСР (более 94%) теперь представляли чехи – 8 384 тыс. (67,9%) и словаки – 3 240 тыс. (26,3%) [1. S. 520, 523] (подробнее о рождении и развитии концепции решения немецкого вопроса в послевоенной Чехословакии см.: [3]). Данная статья посвящена вопросу о том, каким виделось различным национальным и политическим силам в конце войны государственное устройство возрожденной ЧСР с точки зрения взаимоотношений чехов и словаков

Марьина Валентина Владимировна – д-р ист. наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН.

¹ Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, грант 01-01-00280а.

и как эти представления реализовывались на практике в первые послевоенные годы.

Несмотря на чрезвычайную близость чехов и словаков в этническом, культурном, языковом планах отношения между ними никогда не были простыми. С самого начала существования совместного государства возникло политическое движение за автономию Словакии, которое возглавил католический священник А. Глинка, создавший Словацкую народную партию. С того времени и до распада в 1993 г. Чехословакии на два самостоятельных государства – Чешскую и Словацкую республики – взаимоотношения между чехами и словаками развивались, с одной стороны, под знаком борьбы чехов за усиление централизованного, унитарного государства, с другой – борьбы словаков за достижение как можно большей самостоятельности в его рамках. Впервые словаки получили автономию после Мюнхена, когда чехословацкое правительство, чтобы предотвратить окончательный распад государства, предоставило автономию Словакии и Подкарпатской Руси. Так называемая вторая республика стала называться Чехо-Словакией. Но в марте 1939 г., главным образом стараниями гитлеровской Германии, и она прекратила существование. СР, которая обладала всеми атрибутами государственности, просуществовала до мая 1945 г. За эти годы словаки окончательно ощутили себя сложившейся нацией не только в этническом, но и в политическом смысле. Возросли их самосознание и уверенность в том, что словацкий народ может самостоятельно распоряжаться своей судьбой, не ожидая указаний извне, в том числе и с чешской стороны.

После заключения в декабре 1943 г. советско-чехословацкого договора о взаимопомощи в войне против гитлеровской Германии и послевоенном сотрудничестве, когда стало очевидным возрождение на новых основах Чехословацкого государства, активно стал обсуждаться вопрос о взаимоотношении в нем чехов и словаков. Часть политической элиты Словакии поддерживала идею восстановления ЧСР и борьбы против режима президента СР Й. Тисо. Словацкие коммунисты, активные участники борьбы против существовавших в стране порядков, тоже поддержали идею воссоздания ЧСР, хотя с сожалением отказывались от лозунга "За советскую Словакию", выдвинутого ими еще в 1940 г. Это касалось и одного из лидеров действовавшей в подполье Коммунистической партии Словакии (КПС) Г. Гусака. Словацкий национальный совет (СНС), созданный в декабре 1943 г. коммунистами и рядом представителей демократических политических сил как орган подготовки антиправительственного восстания, в своей программной декларации заявил о самобытности словацкого народа и его намерении войти в Чехословацкую республику на равных правах с чешским народом [4. С. 31]. По словам одного из руководителей словацкой компартии и члена СНС К. Шмидке, находившегося в Москве в августе 1944 г., представления о государственном управлении сводились к следующему: "Наряду с автономией чешской (которая бы распространялась на все чешские земли) должны быть автономия словацкая и автономия украинская. В то время как автономия чешская имела бы характер только административно-политический, автономии словацкая и украинская имели бы, кроме этого, и характер национально-политический. Это означает, что Словакия и Подкарпатская Украина имели бы свои автономные правительства, а чешские земли управлялись бы только центральным правительством. Автономные правительства в Словакии и Подкарпатской Украине имели бы своих председателей и некоторые ведомства, например здравоохранения, образования, внутренней торговли, в то время как министерства иностранных дел, национальной обороны, финансов были бы общими. Государство следует строить в трех суверенных народах и признать их" [5. С. 185]. Хотя в официальных заявлениях СНС о конкретном содержании принципа "равный с равным" ничего не говорилось, Шмидке в беседе с генерал-майором Славиным из разведывательного управления Генштаба советских вооруженных сил, заявил: "Словакия согласна войти в Чехословацкое государство только на федеративных началах" [6. Ф. 495. Оп. 74. Д. 552. Л. 14].

В первые дни Словацкого национального восстания (СНВ; 29.VIII–28.X.1944 г.)

Совет, взявший на себя всю полноту власти на освобожденной территории Словакии, уже открыто заявил о намерении словацкого народа снова связать свою судьбу с чешским народом в едином государстве. "Мы выступаем за братское совместное проживание с чешским народом в новой Чехословацкой республике, – говорилось в Декларации СНС от 1 сентября 1944. – Конституционно-правовые, социальные, экономические и культурные вопросы в республике будут по взаимному согласию окончательно урегулированы избранными представителями словацкого и чешского народов в духе демократических принципов, прогресса и социальной справедливости" [4. С. 122]. Однако СНС не был уверен в том, что чехословацкое эмигрантское правительство в Лондоне признает самобытность словацкого народа и опасался, что чехи попытаются навязать свою волю. Бенеш был последовательным сторонником идеи единой чехословацкой нации и не намеревался отказываться от своих убеждений. Еще в декабре 1943 г., встречаясь с представителями Заграничного бюро КПЧ в Москве, он заявил, что "в будущей республике нужно провести административную децентрализацию, но не по национальному признаку". Обращаясь к собеседникам, Бенеш говорил: "Вы никогда не убедите меня в том, чтобы я признал словацкую нацию. Это – моя научная точка зрения, которую я не могу изменить. Защищайте как коммунисты свою точку зрения, я ничего не имею против этого, но я все же считаю, что словаки это чехи и что словацкий язык является только одним из наречий чешского языка. Я никому не запрещаю называть себя словаком, но не допущу, чтобы провозглашали существование словацкого народа" [6. Ф. 495. Оп. 74. Д. 549. Л. 51].

Эта позиция Бенеша и эмигрантского правительства была хорошо известна в Словакии и активно использовалась представителями режима Тисо [7. S. 79–81]. В Словакии хотя и были сторонники теории единой чехословацкой нации (например, один из руководителей СНС В. Шробар), но большинство повстанческой элиты являлось решительным ее противником. Так возникла мысль послать в Лондон делегацию СНС, чтобы выяснить отношения с эмигрантским правительством, которое в сентябре 1944 г. направило на освобожденную территорию Словакии своего представителя. В состав делегации вошли коммунист Л. Новомеский, демократ Я. Урсини и подполковник М. Весел от армии. В середине октября 1944 г. они прибыли в Лондон, где имели многочисленные встречи и беседы, в том числе с Бенешем, представителями правительства и Государственного совета, с отдельными политиками, с английскими, советскими и американскими дипломатами, журналистами. Недавно чешский историк В. Пречан опубликовал обширную подборку документов из архива государственного министра МИД чехословацкого правительства Г. Рипки о пребывании делегации в Лондоне и переговорах, которые она вела. Эти и ранее ставшие известными документы свидетельствуют, насколько непростым было некоторое сближение позиций сторон. Немалая заслуга в этом принадлежала Рипке, политике и публицисту, размышлявшему о влиянии Словацкого национального восстания на будущее чешско-словацких отношений. Члены делегации решительно настаивали на необходимости признания самобытности словацкого народа и отказа от идеи "чехословацкого единства в смысле национально-этническом", а также на сохранении за СНС верховных полномочий на освобожденной территории Словакии и в будущей ЧСР. Однако они не были уполномочены обсуждать вопрос о ее послевоенном государственно-правовом устройстве. Поэтому, отвергая автономию Словакии как якобы напоминающую требование глинковской партии, члены делегации и не утверждали, что словаки добиваются федеративного устройства Чехословакии, хотя в некоторых частных беседах говорили именно об этом. Особое недовольство делегатов вызывало нежелание Бенеша и его окружения признать самобытность словацкого народа. Президент приводил множество аргументов географического, культурно-исторического, международно-политического, социологического плана в защиту своей концепции, подчеркивал опасность, которая может возникнуть в случае отказа от нее, особенно учитывая две столетиями складывающиеся различные ориентации:

в чешских землях – на Запад, в Словакии – на Восток. Последовательное подчеркивание национальных различий, полагал Бенеш, "не только не приведет к сближению, но (приведет. – В.М.) к развитию, которое будет разделять чехов и словаков, и наконец приведет к их отделению друг от друга, к ослаблению республики, а в момент военного конфликта – к поглощению Словакии Востоком, а чешских земель – Западом и к трагической судьбе обеих частей" [8. S. 159–294].

Во взглядах на решение национального вопроса после войны Бенеш исходил из своего критического отношения к тому, как были реализованы на практике закрепленные в решениях Парижской мирной конференции 1919–1920 гг. постулаты о праве наций на самоопределение и о защите прав национальных меньшинств. Он полагал, что первый из них и теоретически, и практически может быть доведен до абсурда требованием самоопределения небольших национальных анклавов, ограниченных масштабами района, города и даже села. Выполнение второго, по его мнению, в межвоенный период не контролировалось, как это требовалось, Лигой Наций или какими-либо другими международными организациями, что привело, с одной стороны, к игнорированию защиты прав национальных меньшинств государствами с недемократическими формами правления, такими, как Германия, Италия, Венгрия, Польша, а с другой стороны, к неумеренной критике других государств, например, Чехословакии, за недостаточное следование этому принципу. Кроме того, считал Бенеш, защита прав национальных меньшинств на практике зачастую входила в противоречие с правами "государственных" наций, вела к их ущемлению и наносила вред стране в целом. Национальная идея, рожденная, по Бенешу, философией Возрождения и Реформации, исходившая из гуманистических принципов Великой французской революции, которая провозгласила права человека и гражданина, сыграла свою положительную роль после Первой мировой войны. Однако, полагал он, эта идея в руках тоталитарных режимов стала одним из главных орудий уничтожения демократии и, в конечном счете, порабощения малых наций. Бенеш считал необходимым снова поставить национальную идею на службу демократии. В его теоретических рассуждениях и подходах к решению национального вопроса было нечто общее со взглядами коммунистов, а именно: подчиненность этой сферы человеческих отношений достижению некоей высшей, главной цели. Но если для коммунистов решающими были интересы пролетариата и развития мировой пролетарской революции, то для Бенеша – совершенствование и укрепление демократии с ее приоритетной защитой прав личности, человека как гражданина. В рамках защиты этих прав, по его мнению, могли быть обеспечены и национальные права каждого [9. S. 31–32, 49, 69, 172–177, 245–448].

Этот подход нашел отражение и во взглядах Бенеша на чешско-словацкие отношения после войны. Являясь сторонником масштабной децентрализации управления восстановленной ЧСР, он полагал, что в ее основу должен быть положен не национальный, а территориальный принцип: разделение страны на четыре края (земли) – Чехию; Моравию и Силезию; Словакию; Подкарпатскую Русь. Центральную власть представляли бы общие парламент, правительство и президент страны, компетенции которых предстояло определить по-новому. Каждая из земель должна была иметь свои законодательные и исполнительные органы, которым центральная власть делегировала бы часть своих полномочий. В свою очередь, земли делились на округа с аналогичными органами управления. Затем следовали общины (населенные пункты) с собственной представительной и исполнительной властью. Учитывая ситуацию, сложившуюся в Словакии в результате восстания, и требования СНС о передаче ему всей полноты власти, Бенеш полагал, что будущая децентрализация управления государством будет осуществлена после договоренности о том, какой объем компетенций получит "земское управление Словакии".

Свое видение внутренней организации послевоенной ЧСР президент изложил советскому руководству во время своего пребывания в Москве в декабре 1943 г. На вопрос Молотова, получит ли Словакия автономию, Бенеш ответил: "Нет, я хочу

провести децентрализацию как административную меру. Я не хочу использовать слово автономия, потому что под этим словом каждый может понимать, что угодно, каждый может придавать этому слову иное значение... Я хочу дать словакам больше, чем в первой республике, но мы должны об этом договориться". Во время беседы со Сталиным 18 декабря 1943 г., записанной З. Фирлингером и правленной затем Бенешем, советский лидер якобы предостерегал президента от возможности словацкого сепаратизма в будущем, заявив: "Следует словаков дома крепко держать в руках. Учитывая их немногочисленность, нельзя допускать никакого сепаратизма, это была бы непростительная глупость. Со стороны словаков это просто глупое сумасбродство" [10. S. 157, 179]. Возможно, Бенеш полагал, что тем самым он получил если не прямую, то косвенную поддержку со стороны Москвы своих планов будущего внутреннего устройства ЧСР.

Эти представления президента нашли отражение в документе, врученном словацкой делегации после завершения ее переговоров в Лондоне. В нем содержалась и личная точка зрения Бенеша по вопросу единого чехословацкого народа. Однако он полагал недопустимым и абсурдным "предписывать, навязывать или устанавливать законами" существование чехословацкого народа: "Я отстаиваю позицию абсолютной лояльности, честной толерантности и взаимного признания: у нас должен быть полностью и честно признан словак (как народ), чех (как народ), чехословак (как народ)". (Слово *národ* переводится на русский язык и как *народ*, и как *нация* в зависимости от контекста. В данном случае, скорее всего, имелась в виду нация.) Существование чехословацкого народа (нации) Бенеш связывал с более высокой степенью культурного развития и отсылал своих оппонентов к примеру Англии, где употребляются выражения *английский народ*, *шотландский народ*, *уэльский народ*, но "с одинаковым основанием и толерантностью – *британский народ*". "Это просто свидетельство высшей ступени развития, – считал он. – Почему бы нам не освоить подобную толерантность? Почему бы нам не понять, не признать и не попробовать приспособиться к этой высшей ступени общественного развития?" [8. S. 265–267]. Таким образом, события в Словакии вынудили Бенеша несколько изменить свой взгляд по сравнению, например, с декабрем 1943 г., когда он безапелляционно заявлял о том, что ничего не заставит его признать существование словацкой нации.

Словацкая делегация не добилась от него ясной и недвусмысленной формулировки в этом вопросе, но "подвижки" были налицо. Отсюда, наверное, и достаточно оптимистическая депеша Новомеского на родину 31 октября 1944 г.: "В принципиальных вопросах между СНС, президентом и правительством достигнута договоренность. Некоторые вопросы еще обсуждаем" [8. S. 168]. Однако Рипка, который из окружения Бенеша, пожалуй, более других склонялся к компромиссу, не был столь оптимистичен. Он понимал, что решение вопроса о взаимоотношениях словаков и чехов в новой ЧСР будет зависеть не только от желания первых, но и от позиции вторых. Хотя не вызывало сомнения, что большинство чешского народа поддерживает восстановление Чехословацкой республики, но в то же время относится к словакам весьма критически.

Эмигрантское правительство поддерживало тесную связь со своими сторонниками в чешских землях и было осведомлено о существующих там настроениях. В конспективном сообщении МИД о положении в стране в конце 1943 г., например, значилось: "Что касается словаков, то большинство нашего народа злится на них и не может хорошо представить сотрудничество с ними. Люди в Чехии также недостаточно хорошо информированы о положении в Словакии" [3. S. 263]. СНВ, вероятно, многое изменило в отношении чехов к словакам, но по-прежнему полной ясности в этом вопросе не было. Впечатления Рипки от беседы с Новомеским 30 октября 1944 г. сводились к следующему: "Я хотел использовать эту возможность для того, чтобы Новомеский, искренний и благородный человек, понял, что их концепция может иметь нехорошие последствия и для словацкого народа, что мир не вертится только вокруг словацкого народа. Думаю, что разговор на него подействовал. Но, несмотря

на это, у меня тяжелое впечатление, что большинство словаков высказывается за республику не сердцем и по внутреннему убеждению, а лишь потому, что освободительная борьба в международном плане ведет к восстановлению Чехословацкой республики. Коммунисты, видимо, приветствовали бы или спокойно приняли присоединение Словакии к Советскому Союзу, а остальные, вероятно, лишь потому, что боятся коммунистов и Советского Союза и будут искать опору против коммунистов в чешском народе. Мне кажется, что не только нацистская пропаганда, но, прежде всего, само словацкое государство оставит на словаках глубокий отпечаток и что, видимо, лишь меньшинство национально-определившихся по убеждению и безусловно хочет Чехословацкую республику. [...] Я очень опасюсь, что на этот раз и чешский народ не будет так воодушевлен объединением со словаками, как было после последней войны, и что и в чешском народе будут скорее лишь расчеты и доводы ума за объединение со словаками в одном государстве" [8. S. 192]. Думается, что эти впечатления Рипки как нельзя более точно отражали действительное положение дел.

После завершения переговоров в Лондоне словацкая делегация не смогла вернуться в Словакию: восстание было подавлено, повстанцы отошли в горы, деятельность СНС предполагалось возобновить уже на территории, освобождаемой частями Красной Армии. 14 ноября 1944 г. делегация отправилась в Москву, куда прибыла 1 декабря. И только в середине января 1945 г. стало возможным ее возвращение на освобожденную территорию Словакии. Во время пребывания в Москве члены делегации (вместе с оказавшимся здесь чехословацким правительственным делегатом на освобожденной территории ЧСР Ф. Немецом) были приняты руководителями НКВД СССР А.Я. Вышинским и В.М. Молотовым. Новомеский встречался с членами Загранбюро КПЧ и главой Отдела международной информации (ОМИ) ЦК ВКП(б). Г. Димитровым. Кроме того, они тесно общались с чехословацкими дипломатами в Москве, в частности, с послом З. Фирлингером. Все это дало возможность составить представление о том, как видится вопрос будущих чешско-словацких отношений в Москве.

Чехословацкая коммунистическая эмиграция стояла на позициях безусловного признания самобытности словацкого народа и выступала за его вхождение в ЧСР на основе принципа "равный с равным". Что касается конкретного его наполнения, то тут представления были довольно расплывчаты: говорилось об автономии Словакии, о возможности Краевого национального управления, а также федеративного устройства ЧСР. В документе "О некоторых вопросах национально-освободительного движения в Словакии", принятом Загранбюро КПЧ 23 августа 1944 г., подчеркивалось, что «окончательное решение о положении Словакии в едином государстве будет принято по братской договоренности с чешским народом на основе принципа "равный с равным" и на основе желания самого словацкого народа». Вместе с тем указывалось, что СНС, согласовав свои действия с правительственным делегатом, возьмет на себя управление всей территорией Словакии, а после ее освобождения созывает общесловацкий съезд национальных комитетов, который и решит вопрос о будущем положении Словакии в составе ЧСР [7. S. 310–312]. В записке возглавлявшего Загранбюро К. Готвальда "К событиям в Словакии", переданной заместителю народного комиссара иностранных дел СССР С.А. Лозовскому 2 сентября 1944 г., были высказаны и предположения о характере будущего устройства ЧСР: "Политическая платформа Словацкого национального совета: демократическая Чехословацкая республика на основе равноправия словацкого и чешского народов (возможно, на основе федеративных отношений); прочная дружба с Советским Союзом" [11. С. 185]. Таким образом, Загранбюро КПЧ тогда не исключало возможности федеративного устройства воссозданной ЧСР. В то же время оно настойчиво стремилось рассеять иллюзии словацких коммунистов о возможности включения Словакии в состав СССР, распространенные среди членов подпольной компартии Словакии. В записи беседы с Димитровым, сделанной предположительно Копецким 29 декабря 1944 г., зафиксиро-

ровано мнение Димитрова: "Было бы ошибкой, если бы словацкие коммунисты думали, что, возможно, в интересах Советского Союза отделение Словакии от Чехии. Нет! Отделение словаков от чехов не в интересах и было бы во вред самим словакам. Чехи – хороший народ и словаки – хороший народ, и оба народа имеют большое будущее. Когда освободитесь от немцев и снова будете организовывать Чехословацкое государство, возьмите, естественно, все, что было в старой республике здорового. И в новом смысле будут, конечно, решены все самые разные вопросы чешско-словацких взаимоотношений. Нужно стремиться, чтобы словаки не жили на более низком уровне, чем чехи". И далее: "Признайте вы, словаки: чехи выше в культурном отношении? Если да, то это вы должны не только признать, но и делать из этого выводы. В чешских землях существуют тяжелая промышленность и развитая экономика, и таким образом жизненно необходимо соединить словацкие земли с чешскими землями. Это объединение имеет для вас, словаков, еще большое жизненное значение, и это значение еще не исчерпало себя". Что касается государственно-правового устройства Чехословакии, то Димитров видел его следующим образом: "Полагаю, что наилучшим решением вопроса о взаимоотношениях чехов и словаков в освобожденной ЧСР было бы, чтобы чехи и словаки были в равноправном положении, чтобы в Чехии было чешское правительство, а в Словакии – словацкое правительство и чтобы было совместное федеративное чехословацкое правительство. Чтобы был парламент чешский и парламент словацкий и, кроме того, общий парламент чехословацкий" [12. С. 519].

В середине января 1945 г. Новомеский и Вало отбыли на освобожденную территорию Словакии, и соображения Димитрова были, естественно, доведены ими до сведения руководства КПС и восстанавливавшего свою деятельность СНС. В феврале 1945 г. три недели в Москве провел Гусак, который неоднократно встречался с Готвальдом и был в курсе проходивших здесь переговоров о новом чехословацком правительстве и его программе. Затрагивались вопросы и будущего положения Словакии в ЧСР. Впоследствии Гусак так вспоминал об этом: «Чехословацкие коммунисты в Москве жили в то время – февраль 1945 г. – под впечатлением точки зрения Г. Димитрова в отношении Чехословакии: у огромного большинства товарищей, с которыми я беседовал, была идея о федеративном решении государственно-правового устройства Чехословацкой республики. Это было коммунистическим решением, по примеру СССР, по этому пути уже пошла в то время и Югославия. Лучшего решения никто не знал. Руководство Коммунистической партии Словакии в период восстания практически отстаивало эту точку зрения, хотя термин "федерация" мы не использовали, имея в виду Лондон». Далее Гусак пересказал беседу Готвальда со Сталиным 23 января 1945 г., когда, помимо прочего, велась дискуссия по основным вопросам политики КПЧ в период освобождения и в последующее время. "Сталин советовал Готвальду, – вспоминал Гусак, – проявлять максимум осторожности и тактичности при решении словацкого вопроса... советовал считаться и с Бенешем, достигнуть договоренности с ним, как с президентом. После осложнений вокруг польского вопроса, когда разрыв с польским эмигрантским правительством в Лондоне оказал весьма отрицательное воздействие и на совместные действия с западными союзниками, Сталин хотел избежать аналогичных проблем и осложнений с Бенешем и его правительством". Готвальд, по словам Гусака, был за федеративное решение, но опасался того, как к этому отнесутся в чешских землях, где в результате нацистской оккупации обострились национальные чувства и усилились антисловацкие настроения. Эти опасения подогревал Копецкий, который в одной из бесед с Готвальдом и Гусаком защищал концепцию Бенеша об административно-территориальном делении будущей ЧСР. Готвальд, по словам Гусака, не поддержал Копецкого [13. С. 789–790].

По возвращении Гусака в Словакию состоялась конференция КПС (28 II – 1 III 1945), обсудившая ближайшие задачи партии. Речь велась и о будущем государственно-правовом устройстве Чехословакии. "Исходя из факта существования двух равноправных народов, – заявил выступавший с докладом Гусак, – мы хотим иметь

федеративное государство, государство единое и общее, в котором, однако, каждый из народов правил бы сам" [12. S. 518–519]. Сразу после конференции, 3 марта 1945 г., состоялось заседание СНС, на котором была избрана делегация для участия в переговорах в Москве по вопросам формирования нового чехословацкого правительства и его программы. Делегация включала по три представителя от КПС (Гусак, Новомеский, Й. Шолтес) и демократического блока (Й. Стык, Шробар, Урсини). Главным для СНС на переговорах был вопрос о будущем статусе Словакии в ЧСР. Принятое им решение касалось именно этой проблемы. СНС ожидал от президента и нового правительства, что "перед приездом в Словакию они торжественно заявят о полном равноправии народа словацкого и народа чешского в рамках единой и неделимой Чехословацкой республики" и что правительство официально заявит о своем несогласии с концепцией единой чехословацкой нации. Ожидалось также, что будет подтвержден статус Словацкого национального совета как органа, "исполняющего всю законодательную, правительственную и исполнительную власть на территории Словакии". Определялся и круг вопросов, входящих в компетенцию СНС и центральных органов управления ЧСР. В ведении первого должны были находиться вопросы, касающиеся внутренних дел, школ и просвещения, снабжения, здравоохранения, промышленности и ремесел, сельского хозяйства и земельной реформы, общественных работ, правосудия. Исключительно центральные органы управления должны были заниматься вопросами внешней политики, внешней торговли и национальной обороны, учитывая при этом словацкую точку зрения. Частично совместно, а частично словацкими органами должны были решаться вопросы, касающиеся железных дорог, почт и телеграфа, реконструкции экономики, финансов [5. S. 366–367]. Ни на конференции КПС, ни в решении СНС ничего не говорилось о чешских органах управления (видимо, это оставлялось на усмотрение чешского народа) и, следовательно, допускалась возможность асимметричной модели управления страной.

В переговорах в Москве, состоявшихся во второй половине марта 1945 г., участвовали представители лондонских эмигрантских кругов, Загранбюро КПЧ и СНС. В основу обсуждения был положен проект правительственной программы, предложенный Загранбюро КПЧ. Бенеш не принимал участия в обсуждении, он был в курсе того, как оно происходит, поскольку встречался с представителями разных заинтересованных сторон. Состоялась его беседа и с делегацией СНС, которая получила от президента обещание не употреблять термин "чехословацкая нация", а говорить *чехи* и *словаки*. Казалось, компромисс был достигнут. Начальник канцелярии президента, Я. Смутны, сообщал в Лондон: "Бенеш не ожидает, что с этой стороны, по крайней мере в нынешней ситуации, возникнут непреодолимые трудности" [5. S. 378]. Но он ошибался. Именно раздел проекта программы, касающийся словацкого вопроса, вызвал наиболее жаркие дебаты, которые продолжались три дня.

Сначала в дискуссии участвовали только представители чешских политических партий, потом и члены делегации СНС. Они ознакомились с проектом программы еще до начала общего его обсуждения и приняли, по словам Гусака, "без существенных изменений". Позиция Готвальда по словацкому вопросу, согласно воспоминаниям Гусака, к этому времени претерпела некоторые изменения. Он должен был договориться с Бенешем, стремился к этому и поэтому "не хотел даже поднимать вопрос о федеративном решении". "То, что у вас имеется в Словакии, сохраните, – советовал Готвальд. – Тем самым положение словаков временно решается. Позднее мы увидим, какова будет ситуация, и сможем опять вернуться к этому вопросу". По словам Гусака, "он настаивал, чтобы мы уступили, чтобы мы не затрудиляли достижения общей договоренности. Мы уступили...". Однако словаки потребовали от правительства и чешских политических партий заверений в том, что сложившееся в Словакии положение будет закреплено и в новой Конституции государства. В этом духе был отредактирован и раздел проекта программы, касавшийся словацкого вопроса [13. С. 832–833]. В нем, в частности, говорилось: "Правительство будет видеть в Словацком национальном совете, опирающемся на национальные комитеты в общи-

нах и округах, не только легитимного представителя самобытного словацкого народа, но и носителя государственной власти на территории Словакии (власти законодательной, правительственной и исполнительной)... Общие государственные задачи правительство, как центральное правительство республики, будет решать в теснейшем взаимодействии со Словацким национальным советом и Корпусом словацких национальных уполномоченных, как исполнительным правительственным органом Словацкого национального совета" [5. S. 384]. Именно эта формулировка вызвала решительные возражения со стороны представителей Национально-социалистической партии (Я. Странский), Народной (католической) партии (Ф. Гала) и правых социал-демократов (В. Майер). Гала, например, в предложенном решении усматривал стремление на длительное время закрепить дуалистическую систему (dvoustáti) государственно-правового устройства ЧСР, призванную как бы механически объединить Словацкое государство с чешскими землями. "Правительство не может принимать на себя обязательства, которые входят в компетенцию избранного в будущем Национального собрания", – говорил он. Странский поддержал Галу: "Сразу скажу, что то, что нас сегодня разводит и в чем между нами нет единства, это не взгляд на нынешнее положение в Словакии, а вопрос, может ли быть нынешняя конструкция образцом для постоянной конструкции". На реплику Готвальда: "Этого хочет словацкий народ, не будем забывать об этом", Странский ответил: "Не исключаю, что это теперешнее состояние может стать в конце концов постоянным, если с этим согласятся словацкий и чешский народы, но не будем брать на себя преждевременных обязательств ... решать вопрос о форме будущего государственного объединения должны не только словаки, но и чехи".

Коммунисты и левые социал-демократы настаивали на предложенных ими формулировках. Копецкий обозначил так называемые четыре пункта Готвальда, от которых они не намерены отказываться: 1. Признание самобытности словацкого народа; 2. Признание правомочий Словацкого национального совета; 3. Признание создания словацких воинских формирований; 4. Обещание, что все это не временно и позднее будет конституционно закреплено. Фирлингер апеллировал к опыту Советского Союза, где реализовано право наций на самоопределение вплоть до отделения, и привел в пример украинцев, которые не хотят отделяться, понимая, что "объединение в Союзе для них выгодно". В конце концов было решено, что несогласные с предложенными формулировками представят свои проекты решения вопроса, которые будут обсуждены совместно с делегацией СНС. Такой проект представили национальные социалисты; в нем хотя и говорилось о признании самобытности словацкого народа, но решение вопроса о его взаимоотношениях с чешским народом откладывалось до освобождения страны. "Если бы это было решено немедленно, то могло бы возникнуть впечатление, что мнение словацкого народа учитывается, а чешского нет", – заявил Странский. Шробар от имени словацкой делегации сказал, что она готова согласиться с некоторой корректировкой проекта. Копецкий решительно поддержал позиции словаков: «Правительство должно ясно заявить, что отказывается от ошибочного понятия "чехословакизм" и что словаки являются национально, а не только культурно самобытным народом», "каждый должен быть хозяином на своей земле. Словацкий национальный совет заявляет о своем праве быть единственным носителем власти на своей земле". Обосновывал компромиссные формулировки, предложенные словацкой делегацией, Гусак. Отметив, что Копецкий выступил "как хороший адвокат словаков", он сказал: "Сегодня – новое сожительство является браком по расчету, и так будет до тех пор, пока не сложатся более сердечные отношения". "Что касается будущего развития: возможно, именно словаки захотят иметь как можно более сильное центральное правительство и центральный парламент как только соберется конституционное национальное собрание, – заявил Гусак. – Но сегодня – это не так. Сегодня существуют опасения, что все может вернуться к старому. Правительство должно ясно заявить, что республика будет строиться на новых принципах. Мы хотим, чтобы было дано твердое конституционное

обещание нового правительства, что речь идет не о временном согласии, а о твердой линии чехословацкой политики".

В конце концов национальные социалисты, видимо, получив согласие Бенеша, вынуждены были принять формулировки словацкой делегации, которые выглядели следующим образом: "Новое правительство ЧСР приложит усилия к тому, чтобы при конституционном решении отношений между словацким и чешским народами были учреждены словацкие органы власти (законодательной, правительственной и исполнительной), какую ныне словацкий народ имеет в лице СНС. Распределение компетенций между центральными и словацкими органами власти установят законно избранные представители словацкого и чешского народов". Именно в такой формулировке этот спорный вопрос был включен в окончательный текст программы первого правительства Национального фронта чехов и словаков, получившей название Кошицкой правительственной программы [14. С. 35–37].

Компромиссное соглашение было достигнуто 26 марта, а через три дня на имя Странского пришла телеграмма из Лондона, подписанная оставшимися там представителями национальных социалистов, в том числе Рипкой: "До последней минуты в словацком вопросе защищайте нашу точку зрения против дуализма. Принципиально настаивайте на том, что без учета голоса представителей чешских земель никто не уполномочен решать вопрос о будущей структуре государства" [5. С. 411–434]. Таким образом, достигнутый на переговорах в Москве компромисс вовсе не означал, что стороны сдали свои позиции. Каждая из них, по сути, оставалась при своем видении государственно-правового устройства ЧСР и надеялась реализовать его в будущем, что, естественно, было чревато новыми спорами и столкновениями взглядов. Их острота и результаты зависели от грядущей расстановки политических сил в стране.

Советские руководители были знакомы с проектом правительственной программы, выработанной Загранбюро КПЧ. Готвальд представил его Димитрову, который, судя по сделанным им пометкам, внимательно изучил документ. Раздел о государственном устройстве ЧСР не вызвал его возражений [6. Ф. 495. Оп. 74. Д. 557. Л. 41–65]. На одном из экземпляров проекта, переданном в ОМИ ЦК ВКП(б), рукой Димитрова написано "Тов. И.В. Сталину" [6. Ф. 495. Оп. 74. Д. 714. Л. 3]. Можно предположить, что материал побывал и на столе "хозяина" Кремля. Молотов также ознакомился с проектом. Его немногочисленные пометки на полях документа свидетельствуют, что он обратил внимание и на раздел о государственном устройстве ЧСР: "Два гос[ударств]а (чехи + словаки)" [15. С. 177]. Трудно сказать, что при этом имел в виду советский нарком, и уж тем более невозможно понять, положительно или отрицательно отнесся он к планам решения вопроса о чешско-словацких отношениях. Массу замечаний по проекту высказал заведующий IV Европейским отделом НКВД СССР В.А. Зорин, который в конце марта 1945 г. был назначен послом СССР в Чехословакии. Он подверг резкой критике и интересующий нас раздел проекта программы: во всей главе "хотя и говорится о равноправии чешского и словацкого народов, вопрос государственных форм и их дальнейшего существования поставлен очень туманно: не упоминается ни об автономии Словакии, ни о федеративном объединении Чехии и Словакии". И далее: "В интересах преодоления словацкого сепаратизма ... необходимо однозначно определить будущие государственные формы положения Словакии в рамках единого Чехословацкого государства. Кроме того, совершенно необходимо сформулировать обязательство об обеспечении прав национальных меньшинств (прежде всего украинцев и русин)" [16. Ф. 06. Оп. 7. П. 51. Д. 822] (опубликовано в: [15. С. 175–177]). Делая эти замечания, Зорин, естественно, исходил из опыта государственного устройства СССР. И он, был, конечно, прав, полагая, что расплывчатость формулировок, свойственная этой части проекта, чревата осложнениями в будущем. Но в то же время такая категоричность оценок не поддается разумному объяснению. Зорин, который, конечно, был в курсе противоречивых взглядов на решение вопроса о форме государственного устройства ЧСР, не мог не понимать, что выдвижение требования немедленной федерализации страны может привести к срыву

переговоров о создании правительства Национального фронта чехов и словаков, а это тогда противоречило интересам СССР. Возможно, это было личное мнение Зорина, которое предназначалось для "внутреннего пользования" и не подлежало доведению до сведения авторов проекта. Тогда непонятно, почему другие его замечания, например к разделу о внешней политике ЧСР, были учтены в окончательной редакции программы.

31 марта 1945 г. сформированное в Москве правительство и Бенеш отправились на освобожденную территорию Словакии в г. Кошице. Из 25 членов кабинета словаками были девять. По рекомендации Готвальда, из словацких коммунистов Гусак, Шмидке и Новомеский, участники СНВ, остались на работе в Словакии якобы для обеспечения преемственности, а в центральные правительственные органы вошли те, кто не принимал участия в восстании: В. Широкий, Ю. Дюриш, В. Клементис. 5 апреля 1945 г. на заседании СНС была обнародована правительственная программа. Готвальд огласил раздел о государственном устройстве ЧСР.

До переезда правительства в Прагу после ее освобождения фактическая власть находилась в руках СНС. Прерогативой первого на практике были лишь вопросы внешней политики. Правительство в общем не вмешивалось в дела реорганизованного СНС и созданного его постановлением от 7 апреля 1945 г. нового Корпуса уполномоченных (словацкого правительства). Подобное положение как нельзя более устраивало словаков, но не радовало чехов, причем разной политической ориентации. Такой вывод, в частности, можно сделать из бесед Зорина с чешскими политическими деятелями в апреле 1945 г. Например, министр внутренних дел правительства коммунист В. Носек посетовал 11 апреля, что его министерство "фактически не имеет возможности действовать, поскольку вся администрация принадлежит Словацкой народной раде (СНС. – В.М.), которая претендует на полное руководство на территории Словакии". "Носек с некоторой обидой говорил, – записал Зорин в своем дневнике, – что словаки рекомендуют центральному правительству Чехословакии заниматься сейчас вопросами обороны и внешними делами, а все остальные дела передать Словацкой народной раде, которая одна вправе решать внутренние вопросы на территории Словакии... Из всей беседы было видно, что Носек чувствует себя еще крайне неуверенно и что между словаками и центральным правительством нет еще должного контакта, причем словаки явно не допускают чехословацкое правительство к проведению активной деятельности на территории Словакии" [16. Ф. 0138. Оп. 26. П. 132. Д. 7. Л. 8, 10]. Примерно в том же духе говорил о словаках и заведующий канцелярией президента Я. Смутны в беседе с советским послом 21 апреля: "Смутны пожаловался на то, что словаки очень ревниво относятся к своим автономным правам, не делают, однако, всего того, что следовало бы на территории, только что освобожденной от врага, в частности, словаки ничего почти не сделали для привлечения к ответственности коллаборантов. В высказываниях Смутного о словаках чувствовалась некоторая ирония и желание подчеркнуть, что главная работа предстоит не здесь, а в чешских землях, и что словаки, по существу, играют в управление страной" [16. Ф. 0138. Оп. 26. П. 132. Д. 7. Л. 13–14, 26–27, 40]. Аналогичные мысли в беседах с советскими дипломатами развивали член ЦК КПЧ Р. Сланский, министр просвещения З. Неэдлы, министр информации Копецкий, вице-премьер Широкий. Критичен по отношению к словакам был и Готвальд, который в беседе с Зориным 14 апреля заметил: "Нельзя сказать, чтобы взаимоотношения со словаками были вполне нормальными. Словаки сделали ряд ошибок в первый период деятельности Словацкого национального совета вследствие того, что словацкое партийное руководство оказалось недостаточно подготовленным к решению серьезных государственных вопросов; кадры руководящих работников из словаков слишком молодые и не имеют достаточного политического опыта – сейчас приходится их поправлять. Между тем эти руководители очень ревниво относятся ко всякому вмешательству в их деятельность, что мешает взаимопониманию" [16. Ф. 0138. Оп. 26. П. 132. Д. 7. Л. 52, 66, 71–73].

Таким образом, одновременно с желанием восстановить единое чехословацкое государство на принципе "равный с равным" уже в самом начале существования Третьей республики обозначилось противостояние чехов и словаков, которое в разных формах и с разной степенью напряженности проявлялось затем вплоть до краха Чехословакии. Однако после обоснования правительства в столице, как это и предсказывалось правительственной программой, предстояло более точно определить компетенции центральных и словацких органов власти. Президиум СНС был приглашен обсудить эти вопросы в Праге 31 мая–2 июня 1945 г. Словацкая делегация получила от СНС инструкции (решение от 26 мая) настаивать на создании чешских национальных органов и добиваться федерации. 27 мая Шмидке сообщал в ОМИ ЦК ВКП(б): "Принцип равноправия чешского и словацкого народов требует создания федеративных отношений в рамках общего и сильного государства, а не автономии для одного из этих двух народов. Эта наша точка зрения была единодушно подтверждена на пленарном заседании Словацкого национального совета 26 мая 1945 г." [17. Ф. 17. Оп. 128. Д. 31. Л. 135]. Указанную позицию, таким образом, занимали как КПС, так и оформившаяся к этому времени Демократическая партия (ДП), первый съезд которой состоялся 8 июля 1945 г. Председатель СНС Й. Леттрих (ДП) так заявил на первой встрече с представителями центрального правительства: "Словаки считали бы идеальным решением, если бы чешской стороной был создан равноценный партнер Словацкого национального совета" [14. S. 437–438]. Однако чешские политические партии, в том числе и КПЧ, придерживались иного мнения: федерация недопустима. На заседании руководства ЦК КПС и ЦК КПЧ 31 мая была достигнута договоренность, что смыслом переговоров будет не окончательное урегулирование государственно-правовых вопросов, а лишь определение компетенций центрального правительства и СНС. Таким образом, словацкие коммунисты решили подчиниться и пока не поднимать вопроса о федерации. Дело в том, что чешское общество не готово было принять подобное решение и не видело надобности в изменении отношений со словаками по сравнению с домюнхенским периодом. КПЧ из-за опасения, что ей не удастся приобрести достаточное влияние в чешских землях в случае поддержки идеи федерализации страны, блокировалась в вопросе о государственно-правовом устройстве ЧСР с партнерами по чешскому Национальному фронту. КПС же, наоборот, могла потерять уже приобретенный в Словакии авторитет в случае отказа от защиты федеративного принципа построения Чехословацкого государства. Отсюда – блокирование словацких коммунистов с ДП в решении национального вопроса. С другой стороны, КПЧ и КПС связывало нечто большее, а именно – "защита классовых интересов пролетариата" и стремление к установлению в стране социалистических порядков. Согласно коммунистической доктрине, "классовый подход" имел приоритетное значение при решении национального вопроса. Однако и ДП не могла себе позволить вступить в резкое противоречие с чешскими буржуазными, по существу централистскими, партиями, рассчитывая на их поддержку в предстоявшей схватке с коммунистами за влияние в обществе.

Такой сложный расклад политических интересов и привел к очередному компромиссу в чешско-словацких отношениях, известному в историографии как первое пражское соглашение. Словацкая сторона сохранила право на собственные законодательные и исполнительные органы, но вынуждена была отказаться от идеи федерализации и согласиться на асимметричную модель государственного устройства, т.е. на то, чтобы в чешских землях правилом центральное правительство. Были определены компетенции словацких и центральных органов управления, причем по сравнению с прежними представлениями СНС или практикой весны 1945 г. значительно расширился перечень совместно решаемых вопросов, включавший 20 позиций. К ним относились Конституция и государственные границы, вопросы внутренней безопасности, обороны, внешней политики и торговли, финансов, государственного бюджета, таможни, гражданства, принципиальной организации школьного дела, транспорта и связи, социальной политики и социального страхования, здравоохранения и др.

Отдельным пунктом в соглашении значилось, что президиум СНС внесет на рассмотрение пленума проект предложения о наделении словацких членов правительства полномочиями в решении вопросов, касающихся общегосударственного законодательства [14. S. 1996–199]. Инициатором этого пункта был Готвальд. В дискуссии о компетенциях центрального парламента словацкая сторона выдвинула требование, чтобы СНС и в дальнейшем получал все проекты законов общегосударственного характера для их предварительного обсуждения. Готвальд считал это ненужным и мотивировал следующим образом: поскольку временного национального собрания еще не существует и законодательную власть осуществляют президент и центральное правительство, в котором представлены словаки, нет нужды по каждому вопросу обращаться в Братиславу, а СНС может уполномочить своих представителей в правительстве действовать от имени Совета. СНС и на этот раз пошел на уступки, приняв 5 сентября соответствующее постановление, которое, однако, содержало ряд оговорок: во-первых, решение словацких членов центрального правительства должно было быть единогласным, во-вторых, они обязаны были вовремя и по возможности заранее информировать СНС о проектах декретов президента ЧСР, чтобы Совет мог высказать по ним свое мнение, обязательное для словацких членов правительства [14. S. 438–439].

Хотя соглашение о компетенциях словацких и центральных органов было подписано, но стороны, по сути, остались на своих старых принципиальных позициях. Об этом, в частности, докладывал Димитрову председатель Всеславянского комитета А.С. Гундоров, посетивший Словакию в начале июля 1945 г. "Руководящие круги Словакии недовольны задержкой разрешения национального вопроса, – сообщал он в отчете о поездке. – Они считают, что Словакия имеет право на самостоятельность в федеративной Чехословакии. Организация государственных органов Словакии и вся их работа направлены на осуществление этого принципа и даже выпускаются свои словацкие деньги. Чехословацкое правительство не считает необходимым создавать федеративную республику, старается не замечать создавшегося положения и не принимает мер к устранению ненормальностей. Не вмешиваясь в дела Словакии, оно вместе с этим и не оказывает той помощи, которая требуется для этой наиболее пострадавшей части государства. Это, конечно, не способствует сближению чешского и словацкого народов и преодолению остатков того сепаратизма, который создан в словацком народе довоенной и гитлеровской политикой" [17. Ф. 17. Оп. 128. Д. 15. Л. 124–126].

12 июля 1945 г. состоялось заседание центрального руководства КПЧ в Праге. Из 19 его участников лишь трое являлись словаками – Широкий, Дюриш, Шолтес, все – члены чехословацкого правительства. Кроме прочего, обсуждалось и "Сообщение Широкого о словацких вопросах". Нарисовав картину бедственного экономического положения Словакии, обусловившего недовольство населения, в том числе рабочего класса и крестьянства, докладчик значительную часть вины за это возложил на руководство КПС, которая якобы не выполняет своей руководящей роли, не направляет деятельность СНС и Корпуса уполномоченных. Дюриш указал на ошибки словацких "товарищей в национальном вопросе", а также на то, что они постоянно подвергают сомнению правильность генеральной линии партии и, следовательно, сползают "на скользкую платформу сепаратистских реакционных кругов в Словакии". Он высказался за оказание КПС "политической помощи", чтобы обеспечить "правильную линию в руководстве нашей партии в Словакии", и подчеркнул, что Гусак и Шмидке не могут далее выполнять свои функции. Носек и М. Швернула поддержали выступавших. Широкий еще "подлил масла в огонь", заявив: "Красная Армия очень опасается, что будет после ее ухода из Словакии". Заключавший обсуждение вопроса Готвальд констатировал, что "нарыв созрел к операции" и что ее следует провести с двух сторон одновременно: правительству из Праги и срочно созванной партийной конференции в Словакии, подготовив к этому времени смену словацкого партийного руководства [18. S. 293–295].

17 и 18 июля 1945 г. состоялось заседание ЦК КПЧ по словацкому вопросу, на которое было приглашено все руководство КПС. ОМИ ЦК ВКП(б) получил протокол этого совещания на чешском языке. Затем для внутреннего потребления он был переведен на русский язык [17. Ф. 17. Оп. 128. Д. 30. Л. 1–95]. В. Пречан с комментариями и приложениями опубликовал этот документ в 1997 г. [19. С. 203–308]. С основным докладом на заседании выступил Шмидке, который, не ведая о том, что, по сути, подстроена ловушка, что выводы уже predeterminedены, постарался объективно оценить положение в Словакии, остановившись и на недостатках деятельности КПС. В согласии с ним выступали Гусак и Е. Фриш. Пражские "товарищи" обрушились на своих словацких коллег с уничтожающей критикой. Особенно старались Копецкий, Й. Кроснарж, Широкий и Сланский. Копецкий говорил о словацком сепаратизме, который носит античешский, античехословацкий и антисоветский характер. "Мы должны понять, – заявил он, – что идея словацкой самостоятельности является гитлеровской идеей ... Самая лучшая национальная политика Словакии, это политика Чехословакии, а не идея самостоятельности. Словацкая государственная самостоятельность не созрела". Чтобы подкрепить свои утверждения, Копецкий, как он это делал часто, ссылаясь на якобы известное ему мнение "советских товарищей" и демагогически манипулировал понятиями "безопасность Советского Союза", "угроза для СССР" и т.д. "Не может быть безопасности для Советского Союза, если пособники сепаратизма будут иметь свои резервы в Словакии, – говорил он. – ... Кто задумает сделать что-либо античешское, тот должен рассматриваться как человек, который думает по-антисоветски. Это не соответствует намерениям Советского Союза ... В Советском Союзе видные деятели не говорят хорошо о Словакии". Копецкий полагал, что весь режим Словацкого национального совета не наполнен "революционным и народным духом", что это – не демократический и не народный режим, а "режим, который созрел к устранению". Таким образом, выступавший еще три месяца назад как адвокат словаков Копецкий теперь выступил в роли государственного обвинителя. О сепаратистских тенденциях в Словакии говорил и Широкий, также сославшись на мнение "советских людей", которые якобы не чувствуют себя в Словакии, "как дома, как на родине братского славянского народа". Он решительно не согласился с мнением Шмидке и Гусака, что к руководству ДП пришли представители ее умеренного крыла во главе с Й. Леттрихом, и заявил о победе в этой партии реакции, которая перешла в Словакии в наступление. Сланский поддержал и развил эту мысль, считая, что Словакия "в настоящее время тормозит развитие в чешских областях". Он усматривал в политике КПС "нечто нездоровое" (позднее это было обозначено понятием "буржуазный национализм". – В.М.) и клеймил оживление в ней сепаратистских элементов: "Товарищи хотят стать сепаратными от влияния центрального правительства. Они хотят ослабить чехословацкое единство в том смысле, что желают уменьшить влияние центрального правительства в Словакии". "Сегодня ситуация такова, – заявил Сланский, – что, если говорить о соотношении сил демократии и реакции, то более выгодно, чтобы в Словакии центральное правительство имело такое влияние, какое требуем мы". Попытки Шмидке и Гусака защитить свои позиции и опровергнуть предъявленные им обвинения не имели успеха. "КПЧ, – по словам Широкого, – должна требовать взаимную искренность и большевистскую самокритику". Заклучавший обсуждение Готвальд заявил: "Вы должны понять, что таким враждебным отношением к центральному правительству вы только льете воду на мельницу реакционных элементов. Каждое государство должно иметь только одно правительство, которое управляет страной. Речь идет о закреплении результатов революции".

Заседание ЦК КПЧ 17–18 июля 1945 г. имело, на наш взгляд, ключевое значение для определения дальнейшей политики КПЧ в словацком вопросе. На нем, как и предполагалось в разработанном ранее сценарии, были внесены предложения о замене руководства словацкой компартии. Причем их инициаторами в соответствии с составленным ранее планом выступили словаки К. Бацилек и Ю. Дюриш, которые считали

целесообразным освободить Широкого от его обязанностей в Праге, чтобы он мог сосредоточиться на работе в Словакии. Все произошло так, как и намечалось: на конференции КПС в Жилине в августе 1945 г. Широкий был избран председателем партии вместо Шмидке, который в сентябре возглавил Корпус уполномоченных. Гусаку, потерявшему пост уполномоченного по внутренним делам, было поручено ведомство транспорта и общественных работ. Следует отметить, что вскоре после возвращения из Праги, 25–27 июля 1945 г., Шмидке, Гусак и Фриш встречались с советским дипломатом Н.Я. Демьяновым, в беседе с которым пытались снова защитить свои позиции и опровергнуть прозвучавшие в их адрес обвинения. Шмидке, например, высказал удивление по поводу мнения "некоторых пражских товарищей" о словацком сепаратизме и высказывания Копецкого относительно того, что СНС "уже созрел для ликвидации". "Шмидке говорил, – записал Демьянов в дневнике, – что Копецкий и другие отвергают тезис о федерации Словакии и предлагают вместо федерации автономию, что ни в коей мере не удовлетворит словацких коммунистов, ибо Словакия – это нация, а не национальность, для которой достаточно было бы и автономии". "Наша общая линия, – подчеркнул Шмидке, – крепить Чехословацкую республику и не допустить ущемления прав словаков, как это было ранее". Он опроверг также высказанное в Праге мнение о недружественном отношении в Словакии к Красной Армии и Советскому Союзу [16. Ф. 0138. Оп. 26. П. 132. Д. 8. Л. 91, 94]. Гусак также говорил о мнимом словацком сепаратизме, связав распространенные на этот счет взгляды с тем, что в прошлом, в том числе и во время Словацкого национального восстания, среди словацких коммунистов пользовалась широкой поддержкой "идея создания Словацкой республики с присоединением ее к Советскому Союзу". Теперь, по словам Гусака, обстановка другая и словацких коммунистов нельзя упрекать в том, что они привержены идее сепаратизма "в ущерб общему престижу Чехословацкой республики". Как и Шмидке, Гусак считал, что реакция в ДП набирает силу, но полагал, что нельзя не видеть различий между отдельными ее лидерами. Фриш был более резок в оценках ДП, видел в ней "враждебную партию", которая готовится к открытой оппозиционной борьбе с коммунистами. Что касается отношения словаков к центральному правительству, то секретарь ЦК КПС полагал: "Общая политика Коммунистической партии Словакии – создание крепкого государства Чехословацкой республики как надежной опоры СССР и его внешней безопасности в Центральной Европе" [16. Ф. 0138. Оп. 26. П. 132. Д. 8. Л. 85–88, 106, 110].

Конец 1945 г. и начало 1946 г. прошли под знаком подготовки к выборам в Законодательное национальное собрание Чехословакии, которые были назначены на 26 мая 1946 г., и усилившегося в связи с этим противоборства различных политических сил. СНС, президиум которой возглавлял представитель ДП Леттрих, стремился ограничить шедшие из Праги централизаторские тенденции и не допустить осуществления в Словакии некоторых важных декретов, подписанных Бенешем. Хотя компетенции словацких и центральных органов управления были определены первым пражским соглашением, но споры между ними продолжались, конфликты множились, росло взаимное недоверие. Словацкие коммунисты (прежде всего повстанческое руководство КПС), вынужденно подчинившиеся решениям пражского центра, открыто уже не выступали с идеей федерализации ЧСР, а ДП все более изображала из себя единственную защитницу национальных прав словацкого народа и борца против чешского централизма. В этой атмосфере недовольства и неудовлетворенности, как той, так и другой стороны, решением словацкого вопроса Прага решила пойти на еще большие ограничения правомочий словацких органов. Новые переговоры между представителями правительства и СНС состоялись 9–11 апреля 1946 г. Они также окончились компромиссом, известным как второе пражское соглашение. В соответствии с ним президент ЧСР получил ряд прав, ранее входивших в компетенцию президиума СНС, в том числе право помилования, награждения иностранных граждан, назначения профессоров в высшие учебные заведения, назначения высших судебных

и государственных чиновников. Законодательная деятельность СНС и Корпуса уполномоченных должна была согласовываться с центральными органами. Признавался принцип единой службы планирования для всей республики, а также единой статистической службы и контроля за государственными хозяйственными объектами [14. S. 367–370]. Значение второго пражского соглашения, считает Рыхлик, состояло в том, "что будущее Законодательное национальное собрание получало законодательную власть на всей территории государства, но должно было считаться с особым положением Словацкого национального совета и Корпуса уполномоченных, которым была оставлена законодательная и исполнительная власть в Словакии при условии координации их деятельности с центральным правительством" [20. S. 39].

Выборы в парламент в чешских землях принесли убедительную победу КПЧ, которая получила там 40,2% голосов избирателей. В Словакии же большинство (62%) проголосовало за ДП. В среднем по стране коммунисты собрали 38% голосов и получили право на формирование правительства, которое возглавил Готвальд [21. S. 60]. Значительное укрепление позиций ДП в Словакии вызвало в чешском обществе новую волну антисловацких настроений и усилило подозрения в словацком сепаратизме. КПС, собравшая 30,4% голосов, морально была повержена, напугана победой демократов и уже без всякого сопротивления следовала в фарватере пражского руководства, в том числе и в решении словацкого вопроса. "Классовый" подход в действиях и поведении словацких коммунистов стал безусловным и приоритетным. Правительство, поддерживаемое всеми чешскими политическими партиями, настаивало на дальнейшем ограничении полномочий словацких национальных органов. На этот раз Готвальд не встретил возражений и со стороны КПС, которая согласилась с мнением "пражских товарищей", что Словакия стала тормозом революционного процесса в стране.

Вопрос о том, как действовать в Словакии, учитывая победу ДП, был поставлен на чрезвычайном заседании правительства уже на следующий день после выборов, 27 мая 1946 г. Очень резко выступал Копецкий, который заявил о необходимости "подвергнуть ревизии все мероприятия, касающиеся Словакии" и добиться того, чтобы правительство "стало действительным правительством и в Словакии, чтобы министры имели там правомочия и чтобы уполномоченные подчинялись соответствующим министрам" [22. S. 421–422]. На заседании президиума ЦК КПЧ 28 мая Широкий и Дюриш получили задание выработать условия вступления ДП в будущее правительство. Вопрос обсуждался на заседании президиума ЦК КПС 29 мая. Широкий говорил о возможности повторения "14 марта 1939 г." и отрицал опасность централизма в случае ограничения полномочий словацких национальных органов. Против дальнейшего урегулирования взаимоотношений СНС с правительством возражений не было. Широкий предложил действовать так: "Товарищ Готвальд на переговорах с представителями Демократической партии, конечно, выдвинет определенные условия. В первую очередь то, что Корпус уполномоченных будет подчинен правительству, а уполномоченные – министрам. Если они с этим не согласятся, то правительство будет создано без ДП" [22. S. 422–423]. На следующий день состоялось заседание ЦК КПЧ, на котором присутствовали Широкий и Дюриш. Выступая по словацкому вопросу, Готвальд заявил: "Мы поставим условие, чтобы уполномоченные были ответственны перед министром, а Корпус уполномоченных – перед правительством. Это будет новинка. Наши словацкие товарищи будут так разумны, надеюсь, чтобы это понять" [23. S. 85]. Вместе с тем он говорил и об обеспечении национальных прав словаков, но уже с помощью центральных органов власти. Председателя КПЧ поддержал Неедлы: "Национальная автономия словаков будет сохранена, мы имеем пример в Советском Союзе". Особого обсуждения не последовало [22. S. 424–425].

В дальнейшем словацкий вопрос решался на отдельных заседаниях чешского и словацкого Национальных фронтов, а также на четырех заседаниях Национального

фронта чехов и словаков, в которых участвовали Широкий, Дюриш и Ш. Баштёванский (генеральный секретарь КПС). Было принято решение о дальнейшем ограничении полномочий словацких национальных органов. СНС впредь должен был проекты своих постановлений согласовывать с центральным правительством, которое могло не допустить даже их обсуждения. Центральные министерства получали право прямого действия в Словакии, уполномоченные были непосредственно подчинены соответствующим министрам, Корпус уполномоченных – правительству, председатель Корпуса уполномоченных становился министром, члены назначались СНС с согласия правительства. ДП, по словам Рыхлика, не имела достаточного простора для маневрирования, поскольку находилась под постоянной угрозой оказаться вне правительства и вообще быть запрещенной [20. S. 49]. Правительство на заседании 28 июня 1946 г. высказало согласие с рекомендациями Национального фронта чехов и словаков. Реорганизация СНС в соответствии с результатами выборов в парламент должна была быть проведена в течение двух месяцев, окружных национальных комитетов – трех, а местных национальных комитетов – четырех месяцев со дня выборов. Принятый 28 июня документ стал известен как третье пражское соглашение [14. S. 475–479]. Оно было одобрено на заседании СНС 16 июля 1946 г. при активной поддержке представителей КПС и сдержанном, а по сути негативном, отношении ДП. 7 августа 1946 г. был утвержден новый состав СНС, в который вошли 63 представителя ДП, 31 – КПС и 6 – двух других небольших партий. 14 августа правительство утвердило новый состав Корпуса уполномоченных во главе с Гусаком.

В чешских землях соглашение было интерпретировано как возврат к централизованной модели государства. Преобладающая часть чешского общества поддерживала такое решение. Чешский институт по изучению общественного мнения, проведенный осенью 1946 г. соответствующий опрос населения, установил следующее: 65% опрошенных полагали, что чехи и словаки являются двумя ветвями одного народа, 21% – два разных народа, остальные – не знали. За сохранение государственно-правовых отношений между чехами и словаками на основе третьего пражского соглашения высказались 36% опрошенных, 35 предпочитали возврат в довоенному положению, 10 считали возможным усиление самостоятельности Словакии, 19% не имели на этот счет мнения [20. S. 52]. Третье пражское соглашение сначала предполагалось как временное решение словацкого вопроса, но в действительности это оказалось не так.

Правительство Готвальда, теперь уже при поддержке КПС, решило перенести акцент в урегулировании чешско-словацких отношений с государственно-правовой стороны дела на экономические и социальные проблемы. Выравнивание социально-экономических уровней развития чешских земель и Словакии предположительно должно было решить и политические вопросы, несколько уменьшив амбициозные притязания словацкой элиты и устранив вызванное материальными трудностями недовольство народных масс. Правительственная программа Готвальда, получившая название "Созидательной", в качестве главных задач включала разработку и утверждение новой Конституции, а также принятие и осуществление двухлетнего плана развития экономики на 1947–1948 гг., составной частью которого являлась индустриализация Словакии и улучшение ее положения в целом. В рамках решения указанных задач и предполагалось дальнейшее рассмотрение вопроса о чешско-словацких отношениях. Пленум ЦК КПС (декабрь 1946 г.), обсудивший задачи партии на новом этапе, пришел к выводу о необходимости "создать все политические, экономические и психологические предпосылки для успешного выполнения двухлетней созидательной программы правительства Готвальда, которая является основой экономического прогресса и всестороннего развития самобытного словацкого народа в ЧСР; укреплять в словацком народе сознание общегосударственной принадлежности и общегосударственной ответственности с тем, чтобы Словакия стала опорой новой чехословацкой государственной идеи и славянской взаимности" [22. S. 535]. Курс

на поднятие экономики Словакии поддерживался всем руководством КПС, однако мнения о характере отношений, складывающихся между Прагой и Братиславой, различались. Об этом, в частности, свидетельствовала беседа Демьянова с Гусаком в феврале 1947 г., в ходе которой последний заявил: "Имеется много случаев пренебрежения со стороны чехов интересами словаков, как в смысле конституционном, так и в административном управлении Словакией". "Из слов Гусака явствует, – записал советский дипломат в дневнике, – что чехословацкое правительство весьма неосторожно и поспешно решает национальный вопрос в стране, недопонимая, что применение старых методов к словакам в нынешних условиях неизбежно приводит к решительному сопротивлению словацкой общественности и создает благоприятную почву для демократов в их антигосударственной деятельности" [15. С. 415].

Таким образом, словацкий вопрос хотя внешне и казался временно решенным третьим пражским соглашением, но не только руководство ДП, но и часть руководства КПС были недовольны положением дел и централизаторскими устремлениями Праги. Между тем президент прямо разделял и поддерживал этот курс, о чем он, в частности, говорил в беседе с представителями Чехословацкого общества в феврале 1947 г.: "Мы должны исходить из единого принципиального положения: пока между чехами и словаками будет существовать различный экономический, социальный и культурный уровень, между нами всегда будут противоречия", и в этом президент был прав. Он полагал, что национальный вопрос должен найти окончательное решение не только в новой Конституции, но и в практике организации национальной жизни, и что новый кризис в чешско-словацких отношениях неизбежно привел бы к ликвидации Чехословацкой республики. "Я могу ошибаться, – заявил Бенеш, – но я всегда должен иметь это в виду. Ибо после следующего подобного кризиса Словакия ни в коем случае не была бы самостоятельным государством и, скорее всего, досталась бы России. Я, естественно, не полагаю, что подобное решение было бы совершенно здравым для чехов, словаков и русских, а также для общего положения в Европе. Но о таких вещах надо думать заблаговременно... чехи в будущем ни в коем случае не смогут принять самостоятельную Словакию" [16. Ф. 0138. Оп. 28. П. 142. Д. 20. Л. 28–35].

Курс на индустриализацию Словакии – другой вопрос, какими методами он проводился и какие имел последствия – и улучшение ее положения в целом, с одной стороны, был поддержан и КПС и ДП, но, с другой стороны, неизменное недовольство последней и части словацкого коммунистического руководства вызывало то, что он осуществлялся преимущественно руками центрального правительства и без достаточного учета мнения словацкой стороны. Напряженность в чешско-словацких отношениях отмечалась и в справке "Чехословакия", составленной центральноевропейским отделом МИД СССР в конце августа 1947 г. Подчеркивались сильные антисловацкие настроения среди чехов, которые усиливают "сепаратистские тенденции правых кругов Словакии и дают им возможность вести активную пропаганду среди словацкого населения против чехов и чехословацкого правительства". "Даже такое важное мероприятие, как переброска из пограничных областей (бывшей Судетской области) Чехии и Моравии части предприятий в Словакию, предусмотренная двухлетним планом, встречает сопротивление со стороны некоторой части чехов, которые на публичных собраниях допускают такие выкрики: пусть словаки сами себе построят предприятия, мы не отдадим им свои заводы и т.п.", – говорилось в указанной справке. "Таким образом, – делался вывод, – вопрос о взаимоотношениях чехов и словаков остается и до настоящего времени сложнейшей проблемой для чехословацкого государства, и для ее разрешения чешским и словацким коммунистам необходимо приложить все усилия к объединению всех прогрессивных сил страны против чешской и словацкой реакции, обратив особое внимание на слабость агитационной работы, которую проводит словацкая компартия в Словакии" [16. Ф. 0138. Оп. 28. П. 140. Д. 4. Л. 82].

На разногласия в руководстве КПС обратила внимание и С.А. Шмераль, побывавшая в декабре 1947 г. в Чехословакии по линии Славянского комитета СССР. Свои "личные впечатления и наблюдения", почерпнутые "из многочисленных частных дружественных бесед с руководящими работниками КПЧ", она изложила в докладной записке "О положении в Чехословакии". «Компартия Словакии, – говорилось в записке, – очень слаба и не пользуется авторитетом... В партии явно намечаются правое и левое крыло. Во главе правого крыла стоят Гусак, Шмидке, Фриш, находящийся под сильным влиянием Гусака. Левое крыло – большая часть членов партии, которые считают, что они разделяют точку зрения Широкого, руководители партизан и профсоюзных организаций... левое крыло считает, что компартия проводит в Словакии неправильную политику, идя на компромиссы с реакцией. В партии довольно сильны шовинизм и особенно антисемитизм... Очень большое недовольство в партии Гусаком. Дюриш мне сказал: "Гусак – это злой гений словацкой партии". Говорят: "У нас правит клика Гусака, он – способный человек, но совсем не коммунист, а карьерист". Председатель суда коммунист Дакснер, осудивший Тисо, обратился ко мне со следующими словами: "Вы возвращаетесь в Москву, скажите там, кому надо, чтобы Гусаку не верили"» [16. Ф. 0138. Оп. 29. П. 146. Д. 4. Л. 17–18]. В Праге Гусака не любили, что и привело его (вместе с Новомеским и Клементисом) несколько лет спустя, в период активного поиска "классового врага" внутри компартии, на скамью подсудимых в процессе по делу "словацких буржуазных националистов".

Тон в КПС при поддержке пражского партийного руководства задавал Широкий. Именно им и Баштёванским было подписано письмо ЦК КПС ко всем членам партии в связи с подготовкой IX съезда КПС, намеченного на март 1948 г. Помимо прочего, в нем говорилось и о принципах новой Конституции ЧСР, в том числе и о взаимоотношениях чехов и словаков. Составители письма считали необходимым, чтобы Конституция положила конец спорам о самобытности словацкого народа и исходила "из неопровержимого факта, что Чехословакия является государством двух равноправных народов, народа чешского и народа словацкого". Выдвигалось требование, чтобы в духе Кошицкой программы были конституированы словацкие национальные органы законодательной и исполнительной власти: Словацкий национальный совет и Корпус уполномоченных. Однако одновременно Конституция должна была "обеспечить неделимость государства и его единое управление". "Эти два основных подхода: равноправные отношения чехов и словаков и упрочение общегосударственного единства, – говорилось в письме, – являются для нас руководством и при определении компетенции словацких национальных органов. В решении этой задачи следует исходить из принципов Кошицкой правительственной программы, из основных положений пражских соглашений и из практического опыта включения словацких национальных органов в общегосударственный организм" [22. С. 664]. Таким образом, по мысли руководства КПС, будущая Конституция должна была закрепить лишь уже существовавшее государственно-правовое устройство ЧСР.

Усиление международной напряженности, приведшее к обострению внутривнутриполитического положения в ЧСР, агрессивное стремление коммунистов к укреплению своих властных позиций в стране, "раскрытие антигосударственного заговора" в Словакии осенью 1947 г., в причастности к которому была обвинена часть руководства ДП, разразившийся в связи с этим политический кризис в Словакии, повлекший реорганизацию СНС и Корпуса уполномоченных, что несколько укрепило положение КПС, – все это сказалось в дальнейшем на решении вопроса о чешско-словацких отношениях и не могло не привести, с согласия руководства словацкой компартии, к усилению пражского централизма. После февральских событий 1948 г., приведших, по сути, к власти коммунистов, ускорилась подготовка новой Конституции ЧСР. Бенеш, отказавшийся подписать ее текст, ушел в отставку. Новое Законодательное национальное собрание приняло Конституцию в мае 1948 г. В ней признавалось равно-

праве всех граждан страны, а государство объявлялось народно-демократической республикой чехов и словаков. Компетенции словацких национальных органов ограничивались рамками третьего пражского соглашения.

Все это было непохоже на то, как решался национальный вопрос в СССР, и вызывало критическое отношение со стороны советских партийных функционеров и дипломатов. В объемном документе "О некоторых ошибках Коммунистической партии Чехословакии", подготовленном в Отделе внешней политики ЦК ВКП(б) в апреле 1948 г. для секретаря ЦК ВКП(б) М.А. Суслова, большой раздел был посвящен ошибкам КПЧ в национальном вопросе. КПЧ обвинялась в пренебрежении к ленинско-сталинскому учению по национальному вопросу, в блокировании по этому вопросу с буржуазными партиями и в приспособлении своей политики к настроениям отсталых националистических элементов чешского населения. Особенно острой критике подвергалась политика партии в отношении венгерского и немецкого национальных меньшинств, но давались оценки и ее подходу к решению словацкого вопроса. С одной стороны, авторы записки признавали, что КПЧ, выступая инициатором в урегулировании всех вопросов, связанных с положением словаков в едином Чехословацком государстве, добились в течение последних лет известных успехов, которые создают предпосылки для обеспечения в будущем полного равноправия чехов и словаков в рамках единой республики. С другой стороны, подчеркивали, что взаимоотношения чехов и словаков остаются "до сих пор весьма острой политической проблемой" и что руководство КПЧ "все еще недооценивает всей серьезности этого вопроса и политических традиций в Словакии". Подтверждалось же это тем, что в свое время не была оказана необходимая помощь компартии Словакии в деле прочного закрепления ее позиций и влияния в широких слоях словацкого народа. Подчеркивалась необходимость принятия такой Конституции, "которая бы правильно отражала роль и положение Словакии в едином Чехословацком государстве" [17. Д. 1162. Л. 44, 60–67].

В связи с подготовкой заседания Коминформбюро по вопросу об ошибках Коммунистической партии Югославии, которое состоялось в июне 1948 г., в Отделе внешней политики ЦК ВКП(б) был подготовлен ряд материалов о том, какие уроки компартии Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Чехословакии должны извлечь из ошибок КПЮ. В записке, касающейся КПЧ, помимо прочего, говорилось и об исправлении ошибок по национальному вопросу: «Ленинско-сталинские принципы национальной политики были подчинены мнимым "общим" интересам с буржуазией, что неизбежно привело к тому, что компартия оказалась вынужденной идти в национальном вопросе под одним знаменем с буржуазией». Подчеркивалось, что нельзя считать разрешенной "и основную проблему национальной политики в Чехословакии – проблему взаимоотношений чехов и словаков". Давались конкретные рекомендации относительно государственно-правового урегулирования этого вопроса: "Наилучшей формой государственного устройства чехов и словаков было бы создание федерации, построенной не по буржуазно-территориальному принципу, а по национальному принципу" [17. Ф. 575. Оп. 1. Д. 50. Л. 50–53].

Лишь через 20 лет, 27 октября 1968 г., Национальное собрание приняло конституционный закон о Чехословацкой федерации, который вступил в действие с 1 января 1969 г. Согласно закону, ЧССР превращалась в государство двух равноправных союзных республик: Чешской социалистической республики и Словацкой социалистической республики. После "бархатной революции" 1989 г., в апреле 1990 г., государство получило официальное название – Чешская и Словацкая федеративная республика. Но было, видимо, уже поздно крепить ослабевшие "брачные узы". 1 января 1993 г. в результате "бархатного развода" на свет появились Чешская республика и Словацкая республика. Только будущее может показать, насколько был верен этот шаг, и, возможно, со временем взаимоотношения этих двух действительно очень близких славянских народов обретут какие-то новые интеграционные формы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Střední a jihovýchodní Evropa ve válce a v revoluci. 1939–1945. Praha, 1969.
2. *Марьина В.В.* К событиям в Подкарпатской Руси (Закарпатской Украине) осенью-зимой 1944–1945 гг. // Славяноведение. 2001. № 3.
3. Češi a sudetoněmecká otázka. 1939–1945. Dokumenty. Praha, 1994.
4. Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений. М., 1983. Т. 4. Кн. 2.
5. Cesta ke Květnu. Vznik lidové demokracie v Československu. I–I. Praha, 1965.
6. Российский государственный архив социально-политической истории.
7. Slovenské národné povstanie. Dokumenty. (Ed. V. Prečan). Bratislava, 1965.
8. Delegace Slovenské národní rady v Londýně (říjen-listopad 1944). Nové dokumenty // Česko-Slovenská historická ročenka 1999. Brno, 1999.
9. *Beneš E.* Demokracie dnes a zítra. Díl 1 a 2. Londýn [1943?].
10. Československo-sovětské vztahy v diplomatických jednáních 1939–1945. Dokumenty. Díl 2. Praha, 1999.
11. Советско-чехословацкие отношения во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. М., 1960.
12. Cesta ke Květnu. I–2. Praha, 1965.
13. *Гусак Г.* Свидетельство о Словацком национальном восстании. М., 1969.
14. Cestou Května. Dokumenty k počátkům naší národní a demokratické revoluce. Duben 1945–květen 1946. Praha, 1975.
15. Советский фактор в Восточной Европе. 1944–1953. М., 1999. Т. 1. 1944–1948. Документы.
16. Архив внешней политики Российской Федерации.
17. Российский государственный архив социально-политической истории.
18. Česko-Slovenská historická ročenka 1997. Brno, 1997.
19. Záznam o zasedání Ústředního výboru KSČ 17 a 18 července 1945 Česko-Slovenská historická ročenka 1997. Brno, 1997.
20. *Rychlík J.* Češi a Slováci ve XX století. Česko-slovenské vztahy. 1945–1992. Bratislava, 1998.
21. *Kaplan K.* Nekrvavá revoluce. Praha, 1993.
22. Komunistická strana Slovenska. Dokumenty z konferencií a plén 1944–1948. (Ed. M. Vartíková). Bratislava, 1971.
23. *Gottwald K.* Spisy. D. XIII (1946–1947). Praha, 1957.



© 2001 г. А.С. СТЫКАЛИН

РУССКИЕ И ПОЛЯКИ: СТЕРЕОТИПЫ ВЗАИМНОГО ВОСПРИЯТИЯ (СБОРНИК СТАТЕЙ "ПОЛЯКИ И РУССКИЕ В ГЛАЗАХ ДРУГ ДРУГА")

Изучение представлений соседних народов друг о друге, сложившихся в процессе длительных контактов между ними, становится одним из перспективных направлений историко-культурных исследований, способным постановкой общих проблем и их совместным решением объединить ученых разных специальностей – историков, литературоведов, фольклористов и т.д. Пример тому – сборник "Поляки и русские в глазах друг друга" (Отв. редактор В.А. Хорев. М., 2000. 272 С.), подготовленный по итогам двусторонней конференции, состоявшейся в Москве в конце 1997 г.

О значимости именно "имиджологического" ракурса в современном изучении польско-русских культурных связей, о большом внимании ученых к этой тематике свидетельствует появление в последнее время еще двух сборников статей (Поляки и русские: взаимопонимание и взаимонепонимание / Сост. А.В. Липатов, И.О. Шайтанов. М., 2000; *Polacy w oczach Rosjan / Rosjanie w oczach Polaków. Zbiór Studiów*. Warszawa, 2000).

Чрезвычайно богатый фактами и событиями, полный противоречий и драматических столкновений опыт взаимоотношений русского и польского народов во всех его проявлениях породил огромную библиографию. При всем значении дальнейших эмпирических изысканий достигнутый уровень развития российской полонистики (как и польской русистики) позволяет обратиться к решению более сложных задач. Каковы устойчивые представления (стереотипы), сформировавшиеся в результате многогранного общения двух народов в польском национальном сознании относительно России и русских, а в русском национальном сознании относительно поляков и Польши? Как изменялись эти стереотипы по мере расширения круга контактов и обретения обеими нациями нового исторического опыта? Какое отражение они нашли в духовной культуре обоих народов? Ответы на эти и другие вопросы требуют выработки новых подходов, применения нетрадиционного методологического инструментария, ибо формы бытования стереотипов как в народной, так и в высокой культуре чрезвычайно многообразны. При этом в каждом конкретном случае историку культуры приходится выявлять соотношение объективного и субъективного

Стыкалин Александр Сергеевич – канд. ист. наук, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН.

в долгоживущих представлениях народов друг о друге. Как справедливо замечает В. Хорев, этнические стереотипы отнюдь не всегда совпадают с исторической реальностью¹. Но даже противореча фактам, они играют активную роль в формировании ментальности целых поколений, становясь тем самым мощным субъективным фактором исторического процесса и, таким образом, тоже своего рода объективной реальностью. По мере изменения социальных условий они претерпевают эволюцию, приобретают новые значения, актуализируются в зависимости от меняющихся потребностей. Историческая память о конфликтах во все времена эксплуатировалась политикой и идеологией, особенно когда речь заходила об отношениях с ближайшими соседями². На фоне этнической близости, языкового родства и географического соседства культурные и конфессиональные различия выступают с особой выразительностью.

История формирования стереотипов, сложившихся за многовековую историю польско-русских отношений, прослежена в целом ряде статей сборника. Как доказывает Я. Мачеевский, история стереотипа русского в польской ментальности насчитывает пять столетий – до этого русских не выделяли из единой восточнославянской общности, причем стереотип "русина" создавался, как правило, в результате контактов с теми восточными славянами, которые составили этническую основу складывавшейся в XIV–XV вв. украинской народности. Лишь после заключения в конце XIV в. союза Польши с Литвой, но особенно после их объединения в Речь Посполитую в 1569 г., поляки все более отчетливо стали отличать русинов, оставшихся вне этого нового государственного образования, от тех, что заселяли его обширные восточные территории. "Русское" население Речи Посполитой противопоставляли жителям Московии. (Проблему эту глубоко изучил А.С. Мыльников в книге "Картина славянского мира: взгляд из Восточной Европы. Представления об этнической номинации и этничности XVI – начала XVIII века". СПб., 1999.)

В XVI в. Великая Русь окончательно складывается как политическое целое, на очередь встал вопрос о единении с Малой и Белой Русью, что породило напряженность в отношениях с Речью Посполитой. В условиях геополитического соперничества и непрерывных войн контакты поляков с москвитянами по преимуществу сосредоточивались в военной сфере, так что стереотип поначалу имел неширокую базу для формирования. Хотя по мере расширения связей представления о России трансформировались, в них сохранялось неизменное ядро – противопоставление польской свободы и российской неволи, деспотизма³. Представления о людях, которые "всякого начальства приказ... почитают словно глас Божий", отчетливо прочтываются в источниках начиная с XVI в. Интересно, однако, что с подобным видением России иногда сочетались идеи предложить Ивану Грозному или кому-то из его сыновей польский трон. Польские мыслители полагали, что русский монарх подчинится господствующим в их стране порядкам, поостережется править деспотическими методами. Вообще, как считает Я. Мачеевский, "специфика России не воспринималась в тот период как что-то угрожающее Польше" (С. 9). Сильная централи-

¹ "Образы чужой жизни, как правило, складывающиеся в большом историческом времени в... устойчивые структуры сознания, отражающие исторический опыт своей нации, не только обогащают знания о другом народе, но, может быть, в первую очередь, характеризуют собственную этническую ментальность" (С. 24).

² Можно согласиться с С. Фалькович, считающей, что "нередко именно народы, далекие друг от друга, имевшие мало контактов, точек соприкосновения, а значит и взаимных трений, как раз по этой причине создают друг о друге вполне благоприятные представления. И наоборот, негативное мнение рождается из близкого и не всегда приятного знакомства и общения" (С. 45).

³ "Образ покорного, терпеливо сносящего все притеснения и даже произвол власти русского человека подтверждали факты из эпох правления как Ивана Грозного или Николая I, так и Сталина..., – считает Я. Мачеевский. – В течение всех пяти веков существования стереотипа России в нем присутствовал один постоянный элемент – убежденность в том, что русский прирожден терпеть несвободу и притеснения со стороны властей" (С. 8).

зованная власть была в Европе XVI в. нормой, "которую – в позитивную сторону – нарушала лишь Речь Посполитая" (С. 9)⁴.

В России XVI в. при формировании представлений о Польше также на первый план выходило различие типов государственности. В. Мочалова, анализирующая эпистолярное наследие Ивана Грозного, показывает, что первый русский царь крайне негативно относился к шляхетской демократии, видя в выборности короля, к тому же на ограниченное время, игру случая, а значит, источник неполноценности и слабости власти: посаженный государь, получивший трон не "по Божию изволению", как на Руси, а "по многомятежному человечеству хотению", не волен в своих делах, его свобода ограничена самовольством избравшей его шляхты. Таким образом, размышления Грозного о характере власти входят в контекст его представлений о божественном замысле и человеческой воле. Нарушая божественный миропорядок, Польское государство и лично король вообще оказываются вне пределов христианской системы ценностей.

Если ранним этапам истории были свойственны представления об общности происхождения славянских народов, нашедшие отражение и в летописях, то позже усилилось осознание внутриславянского противостояния, вызванного расколом между западным и восточным христианством. И отношение к полякам в России XVI в. в значительной мере было обусловлено их приверженностью к иной (а значит "ложной") вере. Письма Ивана Грозного относятся к числу источников, свидетельствующих о восприятии русским православным обществом "латинской веры" и ее носителей. Как отмечает Е. Левкиевская, "с точки зрения средневекового православного мышления католичество как бы уже не являлось христианством, потому что католики из-за своих многочисленных отступлений от канонов семи вселенских соборов утратили всякое право называться христианами" (С. 232). В русской публицистике XVI в. конфликт с Польшей неизменно оценивается как пролитие невинной христианской крови; православное войско, защищающее истинную, Христову веру, последовательно противопоставляется именно по признаку наличия/отсутствия этой веры католикам-полякам, которых нередко ставят на одну доску то с мусульманами, то с язычниками (характерно, что и слово "костел" иногда выступало синонимом идольских капищ). Особенно отчетливо эта тенденция прослеживается в текстах, посвященных походам Стефана Батория на Русь в 1579–1582 гг. Столкновение двух держав из-за спорных территорий предстает битвой христиан с некими не вполне определенными иноверцами, обороняемый город Псков изображается как богоспасаемый, богохранимый⁵. В этой связи вновь хотелось бы сослаться на уже названную работу А.С. Мыльникова и упомянуть предшествующую его книгу "Картина славянского мира: взгляд из Восточной Европы. Этногенетические легенды, догадки, прототипотезы XVI – начала XVIII века" (СПб., 1996). В этих работах рассматриваются представления различных славянских народов о себе, друг о друге, о славянстве в целом, его этнических и государственных границах, соотношения с неславянским миром; ставятся проблемы бытования в восточноевропейской культуре XVI–XVIII вв. отдельных этнонимов; показано, в частности, какое конкретное содержание вкладывалось в разных странах в те или иные понятия, например, "славяне", "русские", "поляки" и т.д., как эволюционировали эти понятия в общественной мысли по мере развития этнического самосознания, как сказывались на этнических стереотипах религиозный фактор и формы государственности.

⁴ Кстати сказать, часть российской государственной традиции находилась вне сознания поляков. Так, политическая система Великого Новгорода XIV–XV вв. (сословная демократия, ограничивающая власть князя) имела очень много общего с системой Речи Посполитой XVI–XVII вв. Новгородская государственность, как самостоятельное начало, исчезла еще при Иване III, и "поляк просто не успел узнать, что самодержавие – не единственная традиция великороссов" (С. 8).

⁵ Такое восприятие русско-польской войны лишь усиливалось благодаря личности самого Батория – не только польского короля, но и трансильванского князя и в этом качестве вассала турецкого султана. "Басурманское" происхождение польского монарха постоянно обыгрывалось в литературе того времени.

В начале XVII в., в период Смутного времени, русско-польские контакты заметно расширяются, с приходом армии, ведомой Лжедмитрием, многие тысячи жителей Московии впервые смогли увидеть поляков воочию. Массовые случаи осквернения польским войском церквей и надругательств над иконами и мощами лишь укрепляли в русском сознании представление о католиках как о нехристях⁶. Как проявления нехристианского образа действий воспринималось и многое другое – особенности бытового поведения, одежда и внешний облик поляков, необычные для Руси. Все это мало способствовало осмыслению специфических национальных черт их носителей, напоминало в первую очередь об их конфессиональной принадлежности, не только ставя поляков в общий ряд с другими латинскими "еретиками", но и подчеркивая их связь с нечистой силой. Так, например, современников шокировало, когда "враг креста Христова" Дмитрий Самозванец, надругавшись над "непорочной христианской верой", ввел "некрещенную девку" Марину Мнишек в соборную церковь. Обвинения в колдовстве и оборотничестве особенно часто выдвигались в народном сознании в отношении именно этих двух исторических персоналий. Даже бритые подбородки католиков воспринимались как признак демонической природы поляков – отсутствие бород у мужчин в допетровской Руси осмыслялось как впадение в ересь, характерно, что и бесы изображались на иконах безбородыми. Определенное распространение получило также поверье о том, что черт ходит в польском платье. Как показывает О. Белова, события Смутного времени глубоко отразились в народной памяти, причем традиционная культура спроецировала непосредственные контакты в мифологическую перспективу. Показательны, например, соотнесение в фольклоре Русского Севера поляков с неким мифическим народом (злыми великанами), синонимичность лексемы "пан" в севернорусских говорах словам "варвар", "нехристь".

Потрясения Смуты заставили правящую верхушку до некоторой степени отказаться от прежних представлений о самодостаточности России как "третьего Рима", посмотреть, в поисках путей выхода из затяжного кризиса, на "еретический" Запад, прежний недискретный образ которого понемногу размывался, уступая место более дифференцированной картине этносов. Поворот в сознании способствовал восприимчивости к европейской культуре, причем особенно сильным и многогранным в XVII в. было влияние именно Речи Посполитой, уже тогда ставшей для россиян своего рода преддверием Запада. По мере расширения контактов формировался более сложный образ Польши при том, что религиозный в целом характер русской культуры по-прежнему, как замечает В. Мочалова, обуславливал "преимущественное восприятие польского общества сквозь призму конфессионального противостояния" (С. 42), в контексте представлений о латинском мире. Такое мнение особенно поддерживали противники никонианских реформ. "Мы же, правоверные, сие блядское мудрствование Римского костела и выблядков его, поляков и киевских униатов, за все их еретические нововведения анафеме трижды предаем", – так с присущей ему категоричностью поучал единоверцев протопоп Аввакум (С. 231; статья Е. Левкиевской).

Для того, чтобы избежать невольных упрощений в трактовке стереотипов восприятия Польши в допетровской Руси, необходимо, однако, иметь в виду и другое. В русском сознании существовал и иной образ Речи Посполитой – как более свободной, просвещенной, отличающейся большей веротерпимостью страны, где искали и находили прибежище те, кто не желал мириться с московской тиранией. Среди носителей таких представлений были бежавшие в Литву и Польшу князь Андрей Курбский, вольнодумец-еретик Феодосий Косой. Переселился в Речь Посполитую, вступив в конфликт с православным духовенством, и первопечатник Иван Федоров.

Основу фольклорных представлений о других народах составляет противопоставление "своего" и "чужого" (чаще всего ближнего чужого). Поскольку взаимные представления друг о друге формируют прежде всего соседи, на архаические модели

⁶ Даже польские историки не могут не признать, что именно такого рода деятельность их соотечественников "внесла решающий вклад в кристаллизацию у русских негативного образа поляка-притеснителя" (С. 10; статья Я. Мачеевского).

накладываются стереотипы, обусловленные конкретно-историческими контактами (см. статью О. Беловой). Та же самая этнодифференцирующая оппозиция "свой" – "чужой" работает и в высокой культуре, принимая иные формы. Она лежит в основе зарождающегося национального самосознания, зачастую формирующегося через отталкивание от противного. При этом оппозиция "свой" – "чужой" все чаще решается уже не в мифологическом, а в социальном, историческом ключе. Л. Софронова сквозь призму названной дихотомии рассматривает опыт видения Польши в русской театральной культуре XVIII в., отразившей присущими ей средствами противостояние двух стран.

Образ поляка, пришедший на русскую сцену с Украины, находился по преимуществу в сфере комического, где манифестировал стереотип близкого чужака. Будучи помещенным в смеховой мир и выполняя стандартные для этого мира функции, он все же содержал отложившиеся в исторической памяти русских представления о соседе, тающем угрозу. Поначалу этот образ имел набор черт, восходящий к типу хвастливого воина итальянской комедии дель'арте, привязывание к национальному началу оказывалось достаточно условным. Со временем, однако, в нем все более проявлялись специфически польские черты – работа по собиранию их воедино, шедшая на русской сцене, внесла немалый вклад в развитие стереотипов восприятия польского в российском сознании. Средства создания этнохарактеристик были многообразны – имена персонажей, их речевые особенности, костюмы, постоянные атрибуты сценических героев (например, конь и сабля польского воина, как правило, хвастливого и заносчивого), танец как один из ступеней национального начала в культуре. Стереотипы складывались как из внешнего облика персонажей, изображения чужого быта, так и из столкновения этикетов (привычного и чуждого), вызывавшего комический эффект. При этом именно сниженный смеховой регистр позволял создавать жизненно достоверные образы поляков, тогда как в произведениях высоких жанров, где господствовала аллегория, эти образы оставались весьма схематичными. При обращении к польским типажам часто доминировали нравоучительные мотивы (неприятие роскоши и богатства, тщеславия и т.д.), гораздо реже возникала тема предостережения от опасности, исходящей от западного соседа – объективное положение Польши в Европе, степень ее политической и военной мощи с каждым десятилетием давали все меньше оснований для беспокойств.

Б. Носов рассматривает стереотипы восприятия польского в российском дворянском сознании XVIII в., делая при этом важную оговорку о том, что "представления о Польше, сложившиеся в сановных верхах Петербурга, нельзя признать характерными для России в целом" (С. 73). В петровское время Россия утверждается в числе великих европейских держав, тогда как Польша, напротив, утрачивает прежние позиции. Соответственно ослабевает значение польского направления в российской внешней политике. Все это порождало в правящих кругах Петербурга ощущение превосходства России над Польшей, в том числе и превосходства одной политической системы над другой. Идеологи Петра I неизменно подчеркивали преимущества абсолютизма над сословным эгоцентризмом и шляхетской демократией с присущим ей, согласно их толкованиям, разгулом индивидуализма в ущерб общей пользе. Существовал, впрочем, и иной взгляд на Польшу – отпрыски некоторых старых боярских фамилий, недовольные своим положением, весьма позитивно оценивали порядки Речи Посполитой, представлявшие аристократическим родам несравнимо большие возможности влияния на рычаги власти. Однако и некоторые менее знатные выдвигенцы петровской эпохи смотрели на Польшу как на потенциальное пристанище на случай опалы, подумывая к тому же об упрочении своего сословного статуса посредством приобщения к польской шляхте. Дворяне Смоленской губернии, чьи предки были подданными Речи Посполитой, особенно не прочь были сослаться на свои сословные права, некогда пожалованные польскими королями.

Со временем высокомерно-пренебрежительное отношение российской дворянско-бюрократической элиты к государственному устройству Польши усиливается, и этот

подход постепенно усваивается все более широкой массой русского дворянства. Особенно этому способствовала Семилетняя война (1756–1763), наглядно показавшая Европе слабость Речи Посполитой, чьи политические порядки все чаще отождествлялись с анархией и безвластием. На негативный образ Польши в российском дворянском сознании влияло и массовое бегство в Речь Посполитую крепостных крестьян западных губерний (там их положение было несравнимо лучше).

Расширение Екатериной II дворянских привилегий делало, как пишет Б. Носов, "сословный статус российских помещиков в их собственных глазах более ценным, чем свободы польской шляхты" (С. 81). Представление о преимуществах российской формы правления тем самым усиливалось. Аристократическая критика абсолютизма, апеллировавшая к примеру Речи Посполитой как страны, где максимально соблюдаются сословные права дворян, теряла под собой почву. Другим событием, прибавившим российскому дворянству не только имперского высокомерия, но и уверенности в превосходстве абсолютизма над польскими порядками, стал первый раздел Речи Посполитой. Последовавшая за ним экспансия на Запад русского дворянского землевладения и крепостничества (пожалование имений в Белоруссии) лишь содействовала поддержке массой российских дворян польской политики Петербурга.

Три раздела Польши (1772, 1793, 1795) не только предопределили на многие десятилетия вперед вектор развития российско-польских отношений, но и, как замечает Б. Носов, стимулировали формирование в польском сознании образа России как насильника и поработителя, а в российском сознании образа Польши как коварного соседа, всегда готового нанести удар в спину (С. 75). Следует сказать, что восприятие России в Польше в XVII–XVIII вв. также в немалой мере опиралось на опыт Смутного времени, когда в результате участвовавших контактов в шляхетском обществе заметно прибавилось знаний о восточном соседе. Как и в России, где "польскость" все больше отождествлялась с католицизмом, в Речи Посполитой противостояние двух стран воспринималось сквозь призму конфессиональных различий, православие выступало знаком чуждости, полемика с его постулатами занимала видное место в религиозной литературе. При этом в польской словесности XVIII в. отношение к русским, часто высокомерное, было все же, как правило, лишено появившейся впоследствии обиды. Совершенно особая ситуация существовала в пограничье, где формируются очаги взаимодействия двух культур (например, Супрасльский монастырь, о роли которого в двусторонних связях говорится в статье Л. Щавинской). Когда в культурное пространство *Slavia Orthodoxa* влился мощный поток латино- и польскоязычной литературы, встреча Востока и Запада произошла в форме динамичного столкновения, при этом западное начало не подчинило себе восточное, а лишь дополнило его, что проявилось в бережном отношении к тому значительному пласту кириллической книжности, которая издревле бытовала в этом крае (С. 267).

Как отмечает Я. Мачеевский, лишь "во второй половине XVIII в. Россия открывается для поляков с новой стороны – в качестве притеснителя, угрожающего независимости их государства" (С. 12). Хотя возможность вмешиваться во внутренние польские дела она получила еще при Петре I, реальные масштабы опасности, исходящей с Востока, были осознаны десятилетиями позже, что отразили и литературные памятники, где в отзывах о "москалях" все чаще проявляется негодование. Недоверие и неприязнь к русским, сформировавшиеся на основании конфликтного исторического опыта, стали стойким элементом национального сознания польского народа, в России эти особенности польского менталитета также (хотя и с противоположным оценочным знаком) воспринимались как неотъемлемая черта национального характера поляков (см. статью С. Фалькович). История двусторонних отношений в XIX в. дала немало пищи для укоренения таких взглядов.

Правда, в начале XIX в. был период, который мог предвещать несколько иную тенденцию развития. Как признает Я. Мачеевский, после третьего раздела Речи Посполитой наибольшие свободы поляки получили как раз в русской части Польши, польский язык там удержался в учреждениях и системе образования, сохранялись

остатки шляхетского самоуправления (С. 14). По настоянию Александра I Венский конгресс 1815 г. узаконил существование Королевства Польского как автономного образования в составе Российской империи (во главе с царем в качестве конституционного монарха). Но конституция была поправа, что привело к восстанию 1830 г. В конце концов автономия была упразднена, закрыты университеты в Варшаве и Вильно, введено военное положение, сохранявшееся долгие годы.

Именно в этот период в польской духовной культуре (по выражению великого поэта-романтика Ю. Словацкого) было наложено вето на пророссийские устремления. Противопоставление польского индивидуализма русскому духу общности, создающему угрозу для суверенитета личности, становится одним из стержневых направлений общественной мысли Польши. Подвергалось сомнению право России на лидерство в славянском мире, иногда ставилась под вопрос уже сама принадлежность русских к славянам⁷. Получают распространение туранская концепция происхождения русского народа, представления о русских как азиатах, наследниках татаро-монгольского государственного уклада или даже прямых потомках Чингис-хана и Батыея⁸.

Бойкот всего русского особенно усилился после подавления восстания 1863 г. Российская политика с этих пор была направлена на полную интеграцию "Привисленского края" в империю, русификацию его населения. Были закрыты польские средние школы, польский язык запрещен в государственных учреждениях⁹. Польская нация, однако, оказалась способна к эффективному сопротивлению, вопреки массивному противодействию Петербурга формируется альтернативная система национальных культурных учреждений. Власти так и не смогли запретить издание частных газет на польском языке, польские театры. Как замечает Я. Мачеевский, "сложилась парадоксальная ситуация: в стране, где официальным языком был русский, бурно развивались польская периодика, литература, театр" (С. 15). Именно в условиях утраты Польшей независимости, в тисках сильного национального гнета, происходит расцвет польской литературы.

При этом, вопреки усилиям некоторых незаурядных умов сделать Россию табуированной темой, своего рода "великим отсутствующим" в польской культуре, контакты отнюдь не прервались. Не вся польская интеллигенция погрязла в радикальных антирусских настроениях. "Мы не остров, окруженный морями, мы должны принять объективные условия, в которые поставлены" (С. 16); поскольку русские навсегда останутся нашими соседями, необходимо уже сейчас трудиться над налаживанием связей – такова была реалистическая позиция писателя Ц.К. Норвида. А писательница совсем другого поколения, М. Домбровская, с немалой художественной силой смогла

⁷ Зеркальным отражением этой позиции стало бытовавшее в России XIX в. отношение к полякам как предателям славянства, прислужникам латинского Запада, заслуживающим исключения из славянской общности; польский вопрос в России вообще все более воспринимался как вопрос сохранения целостности великой славянской державы – достаточно вспомнить стихотворение А.С. Пушкина "Клеветникам России".

⁸ Острые польско-русские противоречия, несомненно, вели к маргинализации в Польше идей славянской взаимности, однако все же не исключали из общественной мысли, тем более что их актуализации могла способствовать усиливавшаяся угроза германизаторской ассимиляции поляков в прусской части Польши. Польский вариант славянофильства, естественно, противостоял российскому панславизму. В то же время ему не чужды были австрославистские концепции (при этом следует иметь в виду, что даже наиболее лояльные по отношению к Габсбургам польские политики в Галиции никогда не переставали мыслить общепольскими категориями).

⁹ Курс царизма на деполонизацию западных областей империи находил понимание в Пруссии, а с 1871 г. в Германской империи, где власти проводили на польских землях аналогичную политику не менее, а пожалуй, и более жесткими методами. В 1903 г., во время беспорядков на территории польских провинций Второго Рейха, кайзер Вильгельм II в беседе с русским военным агентом заметил: "Это крайне опасный народ. С ним не может быть другого обращения, как держать их постоянно раздавленными под ногами!". При этих словах "подвижное лицо императора приняло суровое до жесткости выражение, глаза блестели недобрым огнем и была очевидна решимость эти чувства привести в действительное исполнение", что, по мнению русского военного представителя, означало "немалые хлопоты и затруднения" для Германии (см.: [1. С. 72]).

постичь и выразить психологию тех, кто, сумев переступить незаслуженные обиды, преодолел предубеждение и поддался обаянию великой русской литературы. «Какое-то мучительное любопытство, – воспроизводит Домбровская состояние своей героини, – влекло ее к русским книгам... И словно для того, чтобы еще увеличить ее муку, от этих произведений исходило непреодолимое очарование; в их атмосфере она жила, как околдованная... То в полудреме, то в лихорадочном бреде (она) кричала им: "Если вы такие, если вы такие, то за что вы нас угнетаете!.." – и швыряла книги, шепча: "Все это ложь, низкая ложь!" И опять тянулась к ним, как пьяница к вину, и думала: "А может, это и есть единственная правда о них, а гимназия, преследование – ложь, заговор жестоких негодяев, которые не хотят, чтобы люди поняли друг друга!" И широко раскрытыми, недоумевающими глазами смотрела в глубину страшной темной трагедии – трагедии разлада между людьми» (С. 197; статья С. Мусиенко).

Осмысление исторического опыта соседских, в известном смысле даже "семейных" взаимоотношений (образ "семейного спора", возникший у А.С. Пушкина, не чужд был и некоторым польским романтикам) приводило к осознанию общности судеб, причем возникающей на почве страдания, а потому более глубокой. В зеркале общечеловеческого универсализма проблем, поднимаемых русской культурой, иногда даже польским мыслителям казались ограниченными цели собственного движения, замыкающегося на национальных задачах. Духовные искания русских писателей, преломленные в публицистике и литературной критике Польши, расширяли горизонты мировидения польской интеллигенции. Хотя официальная российская политика, по мнению польского журналиста начала XX в. Э. Пильгца, "была как бы рассчитана на то, чтобы вытравить в польских умах всякую мысль, всякую надежду на создание вместе с Россией лучшего будущего" (С. 104), наиболее дальновидные умы (в начале XX в., например, Р. Дмовский) происходили к осознанию того, что вопрос независимости Польши может быть решен не в изоляции от России, но только в контексте разрешения российских дилемм, в общем пространстве польского и русского. Знаменитый лозунг "За вашу и нашу свободу!", возникший еще в первой половине XIX в., также, отмечает Я. Мачеевский, был связан "с мессианскими иллюзиями, согласно которым поляки выполняют специальную миссию демократизации России" (С. 13).

Хотя и 1831 г., и 1864 г. подбросили немало дров в костер русофобских настроений, в польской публицистике проявилась и тенденция проводить грань между царизмом и русским народом, не несущим ответственности за политику своих верхов. Власть охотно исключали из "славянского сообщества", аргументируя это, помимо всего прочего, заметным участием немцев в управлении страной¹⁰.

Немалую роль в осознании общности судеб двух народов играла историческая наука. На смену романтическому направлению в польской историографии во второй половине XIX в. приходит позитивистское. Опираясь на огромный массив фактов, историки стремились более критически осмыслить путь своей нации, определить весь комплекс причин (в том числе внутренних) утраты Польшей независимости. В свою очередь, публицисты переводили размышления историков в плоскость выявления национальных черт, повлиявших на трагический исход борьбы за сохранение государственности¹¹. Переосмысление неоднозначного исторического наследия, в том числе

¹⁰ Один из польских литераторов даже назвал русский народ "невольником чужой династии" (С. 14). Правда, такая позиция вызывала и возражения: некоторые из польских публицистов, замечает М. Понк-синский, указывали на неосознанно-лицемерную тактику тех русских, что проводили четкий водораздел между народом и правительством дабы снять с себя всю ответственность за притеснения поляков – будто правительство в самом деле состояло из чужих, захватчиков (С. 96).

¹¹ Такие особенности национального характера, как экспансивность, избыток фантазии, отсутствие инстинкта самосохранения, склонность к анархизму, неумение оставаться в должных пределах, крайнее развитие личностного начала, необузданное, доходящее до произвола стремление к свободе, неспособность посторониться со своим "я" перед требованиями общего блага и т.д. оказывались в роли факторов решающего значения для судеб Польши в конце XVIII–XIX в.

тяготеющего над обоими народами негативного опыта русско-польских взаимоотношений, становилось необходимой духовной предпосылкой созидания лучшего будущего.

Русские историки и публицисты также зачастую искали истоки падения Речи Посполитой в польском национальном характере. При этом над ними, как правило, довлел идеологический заказ – показать нежизнеспособность этого государства, неспособность поляков к собственной государственности (торг своей короной в отношениях с соседями более, чем что-либо другое, воспринимался как признак слабости государства). Но даже в условиях, когда в русском обществе явно доминировали подогреваемые сверху антипольские настроения, некоторые из либеральных историков сумели преодолеть предвзятость подхода. В их работах можно встретить высокую оценку польского парламентаризма: по мнению авторов, именно в Польше в раннее Новое время "индивидуальное начало Европы" нашло самое полное осуществление, некоторые принципы политического устройства, составляющие "силу и гордость" английской и американской демократии, впервые были претворены в жизнь именно в Польше (см. статью С. Фалькович). Вообще одни и те же черты польского национального характера, синтезировавшего ярко выраженное личностное начало с любовью к родине, в зависимости от идеологических и психологических установок могли трактоваться с разным оценочным знаком (любовь к свободе – бунтарство, гордость – кичливость, рыцарство – безрассудство, патриотизм – национальный эгоизм). Пробивал себе дорогу более дифференцированный, социальный подход к польской нации. Так, Д. Овсяннико-Куликовский указывал на то, что рыцарство и гонор – не национальные, а сословные шляхетские черты.

Польская общественная мысль конца XIX – начала XX в. отражала новый исторический опыт нации, отнюдь не однозначный. Характерное для польского романтизма восприятие Российской империи как пространства, насыщенного злом, не всегда находило подтверждение в реальной практике. Как показывает в своих работах Л. Горизонтов (см., например, [2]), тысячи поляков, людей разных специальностей, зачастую могли себя в полной мере реализовать лишь в рамках этого обширного пространства (эта тема нашла преломление и в польской литературе – например, в прозе И. Неверли, сознательно ориентированной на разрушение стереотипов). Попадая вглубь России, поляки уже не могли бойкотировать все русское, многообразные контакты были неизбежны. Непосредственный опыт общения с русскими в ситуациях, когда могли раскрыться их человеческие качества, способствовал размыванию стереотипов. Вернувшись из России уже в независимую Польшу в 1920-е годы, тысячи поляков передавали свой опыт следующим поколениям, и этот опыт продолжал работать вопреки новым историческим катаклизмам, лишь подливающим масла в огонь антирусских настроений.

Проблема, о которой идет речь, была тесно связана с польской политикой царизма, отнюдь не всегда сводившейся к грубому подавлению всех проявлений национальной жизни, но включавшей в себя широкий комплекс мер, направленных на удержание Польши в лоне империи. Стремление к интеграции национальной периферии и имперского ядра оставалось стержневым направлением политики в отношении всех национальных районов, Польша же неизменно выступала передним краем борьбы против центробежных тенденций в монархии. Прямым продолжением военного присутствия в польских землях явились землеустроительные планы. Выделяя средства на переселение крестьян из России, их "тихое, хозяйственное заселение на всегдашние времена", правительство заботилось об укоренении в Польше "русского элемента", в котором центр резонно видел свою опору, гарант стабильности в беспокойном регионе. Эта политика, однако, как доказывает Л. Горизонтов, вступала в противоречие с главной тенденцией демографического процесса в империи: крестьянское по составу переселенческое движение, довольно плохо контролируемое петербургской бюрократией, устремлялось в направлении свободных пространств на Восток. От поисков идеального носителя русского начала усилия властей перемещались

в плоскость упорядочения наличного потенциала. Уже начиная с 1860-х годов имели место попытки углубить противоречия между польским крестьянством и шляхтой, крестьяне-католики выводились из-под действия антипольского законодательства. В целом же политика центра была неэффективна: даже в тех случаях, когда ему удавалось воспроизвести в миниатюре на периферии общество Великороссии, на окраины переносился сложный комплекс русских проблем, которые в инонациональной среде обретали еще большую остроту (С. 115). К этому можно добавить, что условия развития польской культуры в центре империи были благоприятнее, нежели в российской части Польши. На рубеже XIX и XX вв. в Петербурге, где проживали более 150 тыс. поляков, польские общества, журналы, издательства обладали значительно большей свободой, чем в Варшаве или Вильно, книги, которые в Польше не могли пройти через цензурное сито, в столице выходили без особого труда.

Развитие польской культуры в Российской империи сталкивалось, впрочем, не только с административными препонами. Приходилось преодолевать предубеждение общественного мнения, в котором весьма прочно, особенно после 1863 г., укоренились антипольские стереотипы, которым усилиями властей при поддержке великорусских националистических кругов придавался ярко выраженный конфессиональный оттенок (зловещий образ фанатичного поляка-католика, заклятого врага российской государственности, насаждался всеми средствами воздействия на умы – от школы до прессы). В русской литературе, обращает внимание В. Хорев, также на протяжении десятилетий формировался негативный стереотип поляка, сохранившийся в исторической памяти поколений подобно тому, как «однажды созданный художественный образ не отменяется последующим развитием литературы, а продолжает "работать" на восприятие читателя одновременно с другими, более поздними» (С. 26). Восстания 1830 г. и 1863 г. вызвали к жизни волну недоверия и вражды не только к тираническим "москалям" в Польше, но и к коварным "ляхам" в России (С. 26). «Под видом "братского" славянского народа, мы ввели под свою крышу закоренелого врага, врага тысячелетнего, который в течение давних веков угнетал Западную Русь и который в этом угнетении привык видеть историческое свое призвание» (С. 48–49), – такая точка зрения была весьма типична для русской журналистики. Образ известных врагов России, хитрых и коварных, разрушающих ее изнутри, проникал и в художественное творчество. Даже самые крупные писатели не были свободны от предвзятости в своем отношении к польскому национальному движению. Достаточно вспомнить о пушкинских "кичливых ляхах", об антипольских мотивах в творчестве Н. Гоголя и Ф. Достоевского. И все-таки польская тема в русской литературе не сводилась к тиражированию схем и негативных стереотипов. Осмысляя неоднозначный исторический опыт отношений двух народов, ведущие писатели часто преодолевали идеологическую заданность и тем более поднимались над политической конъюнктурой, иной раз даже вопреки собственным убеждениям создавали многомерные образы, постигая польский национальный характер во всей его сложности и противоречивости. У Гоголя создание польских персонажей не замыкалось на изображении лукавства, вероломства, стремления к роскоши. Они зачастую предстают храбрыми и умелыми воинами. Привлекательные образы политических ссыльных оставил Достоевский в "Записках из Мертвого дома". Комплекс вины за политику царизма в Польше прочитывается у позднего Л. Толстого, например, в "Хаджи-Мурате". Усилиями выдающихся писателей формировался новый образ – поляка-страдальца. Ф. Тютчев, оставаясь сторонником имперского панславизма, все-таки мечтал о временах, когда "строй вожденный водворится, как с Русью Польша помирится". А. Пыпин в разгар антипольских кампаний призывал соотечественников к сдержанности, замечая, что враждебность и предвзятость особенно непозволительны "со стороны народа огромного, сильного и победившего" (С. 85; статья Е. Цыбенко). Среди наиболее последовательных критиков насильственной русификации Польши были в 1850–1860-е годы (в эмиграции) А. Герцен, в 1880–1890-е годы В. Соловьев. Немало сделал для популяризации в России польской литературы В. Короленко.

Поднимая общечеловеческие проблемы, способные найти отклик российского читателя, крупнейшие польские писатели многократно издавались на русском языке, их произведения находили отклик в критике. Достаточно упомянуть об огромной популярности в России творчества Г. Сенкевича.

Таким образом, вопреки всем обстоятельствам, общение двух культур продолжалось, именно писатели, художники лучше кого бы то ни было оказывались способны выстраивать мосты над самыми глубокими пропастями, разрушать негативные стереотипы.

Подъем революционного движения в России вызывал в Польше неоднозначную реакцию. Радикалы, с каждой новой революционной волной пытавшиеся возродить старый лозунг "За вашу и нашу свободу!", составляли лишь меньшинство польского общества, в котором, в частности в 1905 г., доминировала настороженность¹². Все-таки эволюция России на пути трансформации в конституционную монархию была встречена позитивно – как первый шаг на пути кардинального решения польской проблемы. В тот же период расширяются контакты в духовной сфере, выходит из моды бойкотирование русскоязычных культурных институций. Все это заложило основы для формирования мощного политического движения, ориентированного на соглашение с Россией, – Р. Дмовский на первых выборах в независимой Польше получил почти 50%. При этом старые обиды, конечно, не могли исчезнуть с обретением независимости. Появились и новые факторы усиления антироссийских настроений в Польше, как и ранее, находившихся в тесной взаимосвязи с усилением антипольских настроений в России. Важнейшим из них стала советско-польская война 1920 г.

Роль польского национализма в обуздании охватившей Восточную и Центральную Европу в 1918–1919 гг. мощнейшей революционной волны еще недостаточно, как кажется, осмыслена в отечественной науке. А между тем она весьма велика. Возрожденное поле полуторавекового небытия польское независимое государство стало в атмосфере общенациональной эйфории тем крепким орешком, о который разбились усилия строителей мировой революции. Как пишет А. Липатов, разгром Красной Армии поляками, вставшими на защиту родины независимо от политических убеждений и классовой принадлежности (в этом смысле широко употребимый знаковый конструкт "белополяки" был просто абсурден), "впервые заставил Ленина и его окружение осознать если не иллюзорность, то по крайней мере не исключительность классовых критериев в реальной (а не вымышленной в рамках догмы) действительности, которая уже вскоре развеяла надежды на мировую революцию" (С. 123). Польше не могли простить понесенного унижения. Неудивительно, что образ польского пана, "помнящего конармейские наши клинки", на протяжении двух десятилетий был в СССР одним из самых живучих стереотипов классового врага.

По мнению В. Хорева, "в советский период политизация польско-русских культурных отношений в России по сравнению с предшествующими эпохами даже усилилась – уже в духе коммунистической идеологии" (С. 26). Массированная антипольская пропаганда велась по всем каналам. Правда, новая идеология давала простор для создания несколько более дифференцированной картины польского общества, нежели насаждавшаяся официозом царских времен: "белополякам" противопоставлялся жестоко угнетаемый ими представитель трудового народа, ждущий помощи СССР; под влиянием опыта российской революции, в которой заметную роль играли выходцы из Польши, допущался также образ поляка-революционера с подчеркнuto

¹² Российским консерваторам с каждым десятилетием приходилось все более осознавать глубину расхождения между идеальными проектами "усмирения" Польши и реальным воздействием с Востока. Так, К. Леонтьев задолго до революции 1905 г. сетовал по поводу того, что отнюдь не православие предлагает великорусское ядро национальным окраинам, а европейский прогресс самого разлагающего свойства (С. 113; статья Л. Горизонтова).

классовым оттенком¹³. Таким образом, на устоявшиеся в российском национальном сознании стереотипы теперь пытались наложить печать классовой схемы. Впрочем, и в 1920-е годы имели место попытки бросить тень на всю нацию: "Манией величия поражен мозг не человека – народа", – писал И. Эренбург. В условиях, когда недовольство значительной части населения проводимой политикой власти стремились канализировать в направлении враждебного окружения, засылавшего шпионов и диверсантов, панская Польша поистине выступала идеальным адресатом (см. статью А. Липатова).

Под усилившимся идеологическим прессом возрождались, хотя и измененные, старые стереотипы. Так, в изображении "белополяков" использовались прежние черты: высокомерие, надменность, хвастливость. В карикатурах и плакатах, как обратил внимание А. Липатов, распространился образ наглого пузатого пана в национальном костюме с кнутом и кандалами, который грабит, громит и насилует (С. 123). Гораздо шире, чем до революции, используется глубоко оскорбительный стереотип Польши как "европейской проститутки"¹⁴. На фоне тенденциозной, антипольской литературы выделялась "Конармия" И. Бабеля, однако и Бабеля, замечает В. Хорев, Польша представлялась обреченной на гибель как воплощение зла старого мира, против которого поднялись "нищие орды" (С. 27). Все же польские образы и мотивы в русской литературе межвоенного периода далеко не уместались в рамках идеологизированных схем – достаточно вспомнить ряд стихов Б. Пастернака и О. Мандельштама.

В Польше под влиянием нового исторического опыта традиционные стереотипы также изменились – образ русского-притеснителя переплетался теперь с образом большевика, угроза с Востока приобрела отчетливый красный оттенок. При этом польский взгляд на большевизм пытался выявить преемственность нового режима с царизмом, также угрожавшим национальному существованию поляков. "Русский вопрос" в межвоенной Польше был, однако, не только внешним, но и внутренним, ибо там существовала сильная русская диаспора¹⁵. Восточные земли Польского государства, оставаясь культурным пограничьем, в той или иной мере сохраняли свой русский характер, на всех сторонах местной жизни сильно ощущалось влияние политической, правовой, экономической и церковной культуры Российской империи (С. 254; статья Ю. Лабынцева). Это бросалось в глаза и советским писателям, пересекавшим границу с Польшей (см. статью Т. Агапкиной).

В 1930-е годы, по мере укрепления сталинского режима, прежняя революционно-интернационалистская идеологическая версия большевизма становится анахронизмом, на смену ей приходит обновленный вариант имперской идеи. Реанимируется ранее отвергнутая традиция великодержавной русской государственности, режим подчеркивает свою преемственность с ней. Получив от власти новый заказ, историки занимаются идеализацией национальной политики царизма. Все это сказывается на стереотипах. Положительные образы поляков-революционеров утрачивают актуальность, польское бунтарство теперь воспринимается как деятельность, направленная на подрыв основ Российского государства. Соответственно, возрождаются дореволюционные стереотипы поляка как извечного, закоренелого врага России. Массирован-

¹³ Попытки создать такие типажи в литературе и кино не принесли сколько-нибудь убедительных художественных результатов – куда более яркими оказывались образы деградировавших шляхтичей – например, в фильме М. Ромма "Мечта", в исполнении М. Астангова.

¹⁴ Показательны в этом смысле иллюстрации в окнах РОСТА: Пилсудский – марионетка на ниточке у Пуанкаре, лижущая сапоги буржуям.

¹⁵ К потомкам тех россиян разных сословий, которые после 1863 г. были переселены на запад империи в результате целенаправленной миграционной политики царизма, добивалась немалочисленная после-революционная эмиграция. По данным Лиги Наций, в Польше в 1928 г. находилось около 100 тыс. беженцев из России. По этому показателю страна занимала одно из первых мест в Европе и мире (см.: [3. С. 18]). "Русскую проблему" во Второй Речи Посполитой осложняли и такие факторы, как незавершенность процесса национального самоопределения значительной части белорусов, существование сильного движения против полного отделения православной церкви Польши от Русской православной церкви.

ная антипольская кампания достигла своей кульминации осенью 1939 г., в период четвертого раздела Речи Посполитой. За прозвучавшим с высокой трибуны тезисом о нежизнеспособности современного Польского государства¹⁶ отчетливо проглядывала давняя, в такой же мере российская, в какой и германская имперская идея о неспособности поляков к собственной государственности. Одним из главных направлений советской пропаганды становится идеологическое обоснование "воссоединения", "освобождения" земель, некогда принадлежавших царской империи, причем интернационалистическая фразеология с трудом могла скрыть великодержавную суть проводимой политики¹⁷.

Память о 20-летнем советско-польском противостоянии в условиях Версальской системы и его драматичном завершении в сентябре 1939 г. настолько глубоко проникла в национальное сознание поляков, что и после войны омрачала отношения "братских партий". Когда в октябре 1956 г. пленум ЦК ПОРП впервые без соизволения Москвы обновил руководство партии, Н. Хрущеву и его соратникам, приехавшим без приглашения в Варшаву "наводить порядок", пришлось принять в Бельведерском дворце "холодный душ". Стоило В. Молотову подать реплику о чувстве интернационального долга, как В. Гомулка резко прервал его: а вам, товарищ Молотов, лучше бы здесь помолчать. Польский народ никогда не забудет ваших слов об "ублюдке Версальской системы", наконец переставшем существовать (подробнее см.: [5]).

Впрочем, озвученный В. Молотовым тезис, отрицавший за польской государственностью право на существование, был детищем конкретно-исторической ситуации, следствием определенного расклада сил на международной арене. Уже в 1944 г. И. Сталин, никогда не чуждавшийся политического прагматизма, говорил на встрече с польскими некоммунистическими политиками о том, что война заставила оба народа извлечь уроки на будущее¹⁸. Советизированная, но формально независимая Польша и во внешнеполитическом, и во внутривнутриполитическом планах была для советского руководства несомненно предпочтительнее Польши, включенной в состав СССР. Понятны в этой связи и те шаги в интересах новой Польши, которые предпринимались СССР на международной арене, в частности, в Ялте и Потсдаме, при обсуждении будущих европейских границ. В секретных докладных тех лет о настроениях польской интеллигенции, авторы которых, армейские политработники, чаще всего с достаточной откровенностью писали о глубокой укорененности антирусских (не говоря уже об антисоветских) стереотипов, обращают на себя внимание свидетельства о том, что даже антикоммунистические политики и интеллектуалы резонно видели в СССР главный гарант новых польско-германских границ по Одру и Нейсе. (Надо сказать, что как бы ни была болезненно воспринята национальным сознанием

¹⁶ «Правящие круги Польши немало кичились "прочностью" своего государства и "мощью" своей армии. Однако оказалось достаточным короткого удара по Польше со стороны сперва германской армии, а затем – Красной Армии, чтобы ничего не осталось от этого уродливого детища Версальского договора, жившего за счет угнетения непольских национальностей. "Традиционная политика" беспринципного лавирования и игры между Германией и СССР оказалась несостоятельной и полностью обанкротилась», – заявлял В. Молотов на заседании сессии Верховного Совета СССР 31 октября 1939 г. [4].

¹⁷ Как в исторической науке, так и в художественной культуре актуализируется восходящий ко временам Запорожской Сечи польско-украинский национальный конфликт – чаще всего путем плакатного противопоставления польских панов и украинских крестьян. При этом, как замечает А. Липатов, сложные и неоднозначные украинско-русские отношения вопреки реальному историческому опыту возводились на уровень извечной любви и братства (С. 126); (см. также: *Невежин В.Д.* Польша в советской пропаганде 1939–1941 гг. Россия и внешний мир: диалог культур. М., 1997).

¹⁸ "Тов. Сталин заявляет, что первый раз поляки и русские шли вместе при Грюнвальде, когда они разбили немцев. Потом у поляков с русскими были ссоры. В XVII веке, при царе Алексее Михайловиче, был министр иностранных дел Ордин-Нащокин, который предлагал заключить с поляками союз. За это его прогнали. Теперь нужен поворот. Война многому научила наши народы" (Запись беседы И. Сталина с делегацией правительства Польши в эмиграции во главе с премьер-министром С. Миколайчиком 3 августа 1944 г. (см.: [6. С. 74]).

утрата Польшей одного из главных своих культурных центров – Львова и восточных территорий, но присоединение новых, северо-западных земель, приобретение обширного морского побережья, а главное, установление гораздо более выгодных границ с Германией и превращение ранее многонационального государства в мононациональное не только в известной мере компенсировали боль утраты, но и создавали Польскому государству немалые геополитические и этнополитические преимущества.) В одном из донесений, направленных осенью 1946 г. по линии политуправления советских войск, предлагалось использовать в антизападной пропаганде то обстоятельство, что знаменитая фултонская речь У. Черчилля была с известной настороженностью воспринята даже некоторыми противниками коммунистов, так как в ней прозвучали ноты, давшие полякам основание увидеть в позиции вождя британских консерваторов определенные сомнения в необходимости столь кардинального пересмотра границ между Польшей и Германией [7. Оп. 125. Д. 391. Л. 12–15; Д. 320].

Опыт войны и послевоенной советизации добавил к существовавшему в памяти поляков комплексу Востока новые болевые точки и психологические травмы (не только братство по оружию в антифашистской борьбе стало фактором национального сознания, но и такие негативно влиявшие на образ СССР моменты, как Катынь, как конфронтация сталинского руководства с польским эмигрантским правительством в Лондоне и как роль советских органов в устранении верхушки Армии Крайовой). Пережитой опыт воспроизвела польская литература, в том числе лагерная проза, заметно раздвинувшая границы представлений о России и свойствах русской души, запечатленных в польском культурном коде (см. статью В. Тихомировой). Показав одну из наиболее трагических страниц в совместной истории двух народов, эта литература даже тогда, когда изображала Россию страной "пирамидального абсурда", отнюдь не разжигала вражды к русским, жертвам той же системы, она несла идеи терпимости, взаимопонимания, преодоления разделяющей народы неприязни. В польской прозе о сталинских лагерях осязатимы ассоциации с миром русской каторги, особенно явственно в ней прочитываются реминисценции с "Записками из Мертвого дома" Ф. Достоевского (как и сто лет назад, Россия выступала той исторической сценой, где актеры-поляки разыгрывали польскую драму). При этом польская лагерная литература стремилась к преодолению поверхностных стереотипов – Россия была представлена в ней удивительно разнообразно. Характерное для польского сознания довольно высокомерное отношение к российской бытовой культуре, а тем более к советскому быту не перечеркивало, однако, неподдельного уважения к ценностям высокой культуры, воспринимавшимся как родственные высокой культуре западного, католико-протестантского мира.

Многие тысячи поляков после 1939 г. прошли через сталинские лагеря. Но для других служба в Первой армии Войска Польского проложила путь наверх по общественной лестнице. В самых широких массах был распространен страх перед большевизмом. С другой стороны, в определенной среде сохранился довоенный культ СССР как отчизны победившего пролетариата. "Ходили слухи, что советские солдаты насилюют женщин и отбирают часы, что было правдой, но правдой было и то, что встречали их, как освободителей", – признает польский исследователь Зб. Ярославский (С. 133). В исторической памяти многих поляков Россия стала знаком репрессий и мученической гибели сотен тысяч сограждан. Налицо были великодержавная политика СССР, диктат по отношению к союзникам, навязывание тоталитарной модели. Но существовало также восприятие СССР как силы, способной предотвратить германский реваншизм. Таким образом, в польском сознании первых послевоенных лет сталкивались совершенно противоречивые стереотипы восточного соседа.

Преодолению негативных стереотипов была призвана служить вся система пропаганды "народной Польши". Пропагандистская кампания, развернувшаяся с конца 1940-х годов, мало учитывала исторически сложившиеся антипатии и предубеждения, общественное сознание, замечает Зб. Ярославский, рассматривалось как чистый лист,

на котором можно писать все, что угодно (С. 134). Происходило замалчивание национального гнета в Российской империи, история двусторонних отношений вообще мало затрагивалась: "Память о прошлом мешала построению современной идиллии, поэтому она просто устранялась" (С. 135). Важно, однако, то, что переоценка истории в принципе не нарушала кодекса национальных патриотических ценностей. Так, вопреки фактам пропагандой утверждалось, что только Октябрьская революция в России принесла Польше независимость, однако значимость идеи независимости для поляков никто не ставил под сомнение. Критические высказывания о советской политике запрещались цензурой. Вместе с тем новые польские власти, боясь скомпрометировать себя в глазах собственной нации в качестве вассалов Кремля, с предельной осторожностью пропагандировали роль СССР в создании "народной Польши", революция должна была выглядеть исключительно польских рук делом¹⁹.

Художественная литература была лишь частью огромного пропагандистского механизма. Доминировала в издательском потоке переводная продукция, однако местные "поэтические изделия" выполняли важную функцию, будучи призванными создать у читателя впечатление, будто выражают убеждения идейного авангарда польского общества. Шаблонные, схематичные, лишённые индивидуальности образы советских тружеников – не только граждан счастливого мира, но и друзей в силу одной лишь своей принадлежности к передовой "Стране Советов" (друзей по разрядке, по меткому определению Зб. Ярославского), выходили из-под пера большой когорты авторов; по сути дела было налажено серийное производство стихов, создана своего рода поэтическая галантерея. Даже некоторые серьёзные поэты отдали дань советской тематике, воспринимая ее, впрочем, как достаточно ритуальную. Широко распространившиеся вариации на тему преобразования природы зачастую приобретали сказочную окраску, были призваны вызвать у читателя ассоциации с райской идиллией. Как условный и сказочный воспринимался и образ советского солдата-освободителя. Интересно, однако, что в пропаганде редко говорилось о том, что советские солдаты принесли Польше не только свободу, но и социализм – упоминание об этом едва ли могло прибавить симпатий большинства поляков к Красной Армии, и поэты хорошо это осознавали (С. 140; статья Зб. Ярославского).

Опыт военных лет расширил и представления русских о Польше. Пребывание на польской земле позволило многим тысячам русских людей непосредственно соприкоснуться с поляками, их культурой, что не могло не способствовать разрушению стереотипов, насаждавшихся антипольской пропагандой 1920–1930-х годов. Уроки войны нашли отражение и в литературе, где примерно с 1944 г., как пишет В. Хорев, предпринимались попытки пересмотреть прежние схемы, проводилась идея о том, что в процессе борьбы с фашизмом рождалась новая Польша и формировался новый тип поляка (С. 28). Польские образы и мотивы в советской литературе социалистического реализма стали предметом нескольких статей сборника. Как считает А. Липатов, «если речь идет о так называемом "польском вопросе", напрасно искать в советских произведениях черты авторской индивидуальности, особенности собственных убеждений, мнений, предубеждений или симпатий (как это было до большевистского переворота)» (С. 120). "Глобальная кодификация формы и содержания, прямое руководство духовной деятельностью ... создали ситуацию, когда ... отдельные произведения могут рассматриваться как ... своего рода один текст, созданный в соответствии с методом социалистического реализма и требованиями актуального курса партии" (С. 119). Образы Польши и поляков на протяжении истории советского искусства предстают как череда меняющихся в зависимости от политической конъюнктуры картинок, иллюстрировавших, как, по мысли партийно-государственного руководства, надлежало видеть эту страну и ее население в тот или иной текущий момент. От таланта художника, по мнению А. Липатова, зависел только

¹⁹ В этой связи показателен следующий факт: в 1949 г. сотрудник американского посольства, отвечавший за издание пресс-бюллетеня, по настоянию МИД Польши был удален из страны за то, что в одной из публикаций назвал Польшу советским сателлитом [7. Оп. 137. Д. 79].

профессиональный уровень этой артикуляции, которая была заключена в жесткие рамки проблемно-тематических требований и формальных канонов. Автор считает, что советская литература и искусство имеют мало общего с европейской художественной традицией, идущей со времен Ренессанса, в которой доминировало индивидуальное творческое начало, скорее здесь напрашиваются типологические параллели со средневековьем. Эта конструкция покажется спорной, если вспомнить, насколько органично творчество В. Мейерхольда или С. Эйзенштейна (пронизанное большевистской тенденциозностью и, как правило, отвечавшее установкам текущего момента) вписывалось в контекст мировых художественных исканий первой половины XX в., насколько повлияло оно (хотя бы в отношении формы) на творчество западных художников, далеких от коммунистического мировоззрения.

В сталинское время жесткая изоляция граждан "первого в мире социалистического государства" даже от собратьев по лагерю²⁰ способствовала тому, что и образ ПНР в литературе чаще всего был оторванной от конкретных польских реалий иллюстрацией расхожих пропагандистских тезисов о братской дружбе, сотрудничестве, совместных усилиях и т.д. Даже очерки писателей, посещавших Польшу, страдали одномерностью, недостатком конкретики, обилием общих мест. Только в период оттепели, когда расширились взаимосвязи и несколько разжались тиски обязательных нормативов социалистического реализма, оживает в искусстве, как замечает А. Липатов, и польский мотив (С. 129).

Ослабление административного диктата в Польше после 1956 г. благотворно сказалось на художественной культуре – переживает расцвет польское кино, появлением множества интересных явлений сопровождалось развитие других видов искусства. Все это вызвало в СССР интерес к современной культуре Польши – даже в том весьма усеченном виде, в каком эта культура была доступна советской публике²¹. Для части российской интеллигенции Польша становится (хотя бы в некоторой мере) олицетворением свободомыслия. И. Бродский неоднократно замечал, что Польша стала не просто темой поэзии, но в некотором смысле "поэтикой" его поколения, что именно через восприятие Польши, а иногда и через польский язык в сознании этого поколения "прорубалось окно" в Европу. Романтизированный образ Польши становился для поколения Бродского одной из форм выражения собственного расширяющегося психологического и гражданского опыта; полономания 1960-х годов размыкала замкнутое пространство советской официальной культуры и готовые значения ее языка, служила тем самым, по выражению И. Адельгейм, "расширению речи" целой творческой генерации (С. 144–145). В самом деле, количество выполненных Бродским переводов с польского языка уступает только числу его переводов с английского. И. Адельгейм показывает, как имидж Польши, сложившийся в русском культурном сознании, отразился на формировании поэтического языка молодого Бродского. По мнению автора, "в феномене англо-русского писателя, каким Бродский вошел в мировую литературу, – феномене столь же лингвистическом, сколь психологическом – нельзя не учитывать этот сильный польский ген" (С. 146). Некоторые образы польских поэтов становились для Бродского импульсом к расширению собственной поэтической речи, стимулировали постижение сокровенных метафизических смыслов. Через язык Бродского этот польский ген расширял возможности психологического языка современной русской поэзии.

Польские мотивы, однако, присутствовали не только в творчестве писателей, далеких, как Бродский, от литературного официоза. Государственное искусство также отдавало им дань, вводя их в канон изображения "братской дружбы" народов, строящих социализм. Широкое распространение получила схематизированная тема

²⁰ Даже в наиболее жесткий период коммунистической диктатуры, в начале 1950-х годов, польские ученые чаще ездили в Париж, нежели в Москву (подробнее см.: [8. С. 92–104]).

²¹ Так, роман Е. Анджеевского "Пепел и алмаз" (1948), в котором Польша 1945 года была обрисована не совсем так, как надлежало ее видеть в соответствии с господствовавшими в советской пропаганде стереотипами, долгие годы не мог быть опубликован.

"боевого содружества", которую пытались решать на основе мифологизации Второй мировой войны. Понятно, что до середины 1980-х годов в официально издававшейся в СССР литературе не могли затрагиваться такие острые темы, как сговор Сталина с Гитлером за счет Польши, депортация поляков в глубь СССР, Катынь, Армия Крайова, Варшавское восстание и др., в силу чего образ Польши и картина польско-русских отношений в годы Второй мировой войны оставались неполными и искаженными.

Гимн дружбе народов в его официальной интерпретации на глазах ныне здравствующего поколения трансформировался, по остроумному замечанию А. Липатова, в траурный марш, сопровождавший распад системы социализма (С. 130–131). Негативные стереотипы достаточно живучи – образ "неблагодарного поляка" и сегодня можно встретить в отечественной публицистике. Некоторые издания, называющие себя патриотическими, настаивают на "исторической справедливости" участия России в трех разделах Речи Посполитой, не гнушаются обвинять в "руссофобской пропаганде" историков, пытающихся дать взвешенную, объективную картину событий последней трети XVIII в. (равно как и более поздних – будь то 1830, 1863, 1920 или 1939–1945 гг.) В Польше, с другой стороны, есть мощные политико-идеологические силы, последовательно разыгрывающие при любом внутривосточном раскладе антирусскую карту. И все-таки прав Я. Мачеевский, который пишет: "сегодня, когда все разделяющие нас барьеры рухнули, когда в обеих странах наступили перемены, за которые наши народы боролись, впервые за двести лет открылась возможность для русских и поляков рассмотреть взаимные представления друг о друге без ограничений и недомолвок" (С. 21).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Сергеев Е.Ю., Улуян Ар.А.* Не подлежить оглашенію. Военные агенты Российской империи в Европе. 1900–1914. М., 1999.
2. *Горизонтов Л.Е.* Парадоксы имперской политики: Поляки в России и русские в Польше. М., 1999.
3. *Серапионова Е.П.* Российская эмиграция в Чехословацкой республике (20–30-е годы). М., 1995.
4. Правда. 1939. 1 XI.
5. *Орехов А.М.* К истории польско-советских переговоров 19 октября 1956 г. в Бельведере (по новым материалам) // Конфликты в послевоенном развитии восточноевропейских стран. М., 1997.
6. Советский фактор в Восточной Европе. 1944–1953. М., 1999. Т. 1. 1944–1948. Документы / Отв. редактор Т.В. Волокитина.
7. Российский государственный архив социально-политической истории. Ф. 17.
8. *Стыкалин А.С.* Научная интеллигенция стран Центральной Европы и ее отношение к СССР и советской науке (вторая половина 1940-х – середина 1950-х годов). По материалам российских архивов // Интеллигенция в условиях общественной нестабильности. М., 1996.



© 2001 г. Е.П. СЕРАПИОНОВА

КАРЕЛ КРАМАРЖ О ФЕДЕРАЛИЗМЕ И ПРОБЛЕМАХ БУДУЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА РОССИИ¹

Сегодня, когда проблемы конституционного устройства, отношений между центром и субъектами федерации, их полномочий вновь становятся в России предметом острого обсуждения, вероятно, имеет смысл обратиться к истории и более подробно рассмотреть уже существовавшие по этим вопросам предложения.

Богатый жизненный опыт политической деятельности в Австро-Венгрии, для которой проблемы федерализма были насущными и которые широко обсуждались, любовь К. Крамаржа к России и прекрасное знание российской действительности делают мысли чешского политика по поводу российского государственного устройства интересными и поныне заслуживающими внимания. К. Крамарж (1860–1937) происходил из семьи преуспевающего в строительстве предпринимателя. Образование получил в Немецком и Чешском университетах в Праге, а также на юридических факультетах Берлинского и Страсбургского университетов. В дальнейшем он стажировался в Берлине, Лондоне и Париже, где изучал экономику и занимался вопросами практической политики. Крамарж опубликовал несколько работ, посвященных истории финансового и административного управления в империи Габсбургов. Политической деятельностью он занялся в 1880-е годы в рамках так называемого движения реалистов вместе с будущим первым президентом Чехословакии Т.Г. Масариком, а затем стал одним из лидеров достаточно крупной в то время партии младочехов. В 1891 г. Крамарж был избран депутатом австрийского рейхсрата, а в 1894 г. – депутатом чешского земского сейма. С тех пор вплоть до Первой мировой войны Крамарж постоянно являлся депутатом этих представительных органов.

Отличное европейское образование и выдающееся ораторское мастерство вскоре сделали Крамаржа одним из ведущих чешских политиков. В 1897 г. он был избран в президиум рейхсрата, где какое-то время выполнял функцию первого заместителя председателя австрийского парламента. Основной целью его политики была борьба с венским централизмом, за предоставление славянским народам империи, в особенности чехам, равных прав в составе монархии Габсбургов наряду с немцами и венграми.

Крамарж был сторонником союза Австро-Венгрии с Россией. Интерес к последней Крамарж стал проявлять уже в начале своей политической карьеры: в 1890 г. он впервые посетил страну, познакомился и завязал контакты с лидерами политических

Серапионова Елена Павлова – канд. ист. наук, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН.

¹ Статья подготовлена при финансовой поддержке РФНФ, грант № 01-01-00280а.

партий и общественных организаций, с деятелями науки и культуры. Он побывал не только в Петербурге и Москве, но и посетил множество иных городов и весей, добравшись до Тифлиса и Баку. Крамарж гостил и в Поволжье, навестив своего дядю, который работал в имении Д. Самарина. В это время произошло его знакомство с будущей супругой Надеждой Николаевной Абрикосовой (в девичестве Хлудовой). Визит в Россию оказал сильное влияние на формирование политических взглядов Крамаржа. Впоследствии он неоднократно бывал в России, проводил летние месяцы в имении жены в Крыму на вилле "Барбо".

Крамарж стремился создать единый блок славянских народов в рамках Австро-Венгрии с тем, чтобы постепенно добиться равных прав ее славянского и неславянского элементов и перестроить двуединую монархию. Строить отношения со славянами других государств предполагалось на принципах "свободы, равенства и братства". В печати и в делегациях (общем органе двух частей монархии – Цислейтании и Транслейтании) он пропагандировал новую славянскую политику. Концепция неославизма предполагала как отказ от старого панславизма, так и от австрославизма. Крамарж выдвигал на первый план экономическое и культурное сотрудничество славян. Он является одним из ведущих организаторов всеславянских съездов в Праге (1908) и Софии (1910), пытался способствовать урегулированию межславянских конфликтов (между поляками и русскими, между народами Балкан) [1]. После образования Чехословацкой республики К. Крамарж стал первым председателем ее правительства (1918–1919), являлся лидером партии национальных демократов, затем вел активную деятельность в палате депутатов Национального собрания ЧСР.

В 1919 г. К. Крамарж представлял Чехословакию на Парижской мирной конференции. К нему обращались французские и другие политические деятели с вопросом, как русские предполагают разрешить проблему национальностей, представители коих вели интенсивную агитацию в Париже. Правда, Крамарж считал, что тот факт, что нашлось несколько более или менее видных деятелей каждой национальности, которые в Париже провозгласили себя представителями новых государств, не может быть достаточным в смысле международного права, чтобы эти государства действительно существовали.

В это время Крамарж разработал проект Конституции Российского государства. Свою работу он воспринимал лишь как один из планов, предлагаемых на обсуждение тем, кто будет призван выработать Конституцию страны, и как пример возможного удовлетворения справедливых требований живущих в России народов вне федерации или конфедерации, в единой великой России [2. С. 338]. Первые три раздела проекта Конституции были посвящены полномочиям главы государства, Государственной Думы, Государственного совета и общегосударственному управлению. Особый интерес представляли четвертый и пятый разделы. Четвертый раздел конституционного проекта рассматривал областное законодательство и управление; пятый касался вопроса о языках.

Предполагалось, что Российское государство будет разделено Учредительным собранием на области в соответствии с местными национальными, экономическими и социальными условиями. Каждая область должна была управляться областным сеймом и правительством. Далее оговаривались компетенции сейма и состав областного правительства [2. С. 344–345]. Русский язык становился государственным, на нем публиковались общие законы. Русский должен был также стать рабочим в центральных учреждениях, языком сношения с местными учреждениями и обязательным предметом в школе. Областные законы могли публиковаться на языках местных сеймов и обязательно на русском. В областных сеймах и учреждениях должны были использоваться те языки, которые приняты решением областного сейма, и русский. Язык преподавания в школе должен был также устанавливаться решением местных сеймов [2. С. 346]. В примечаниях к основным статьям Конституции Крамарж писал: "Я сомневаюсь, что Россия начнет свою новую жизнь согласием на расчленение своей земли, которую ее народ в столетних боях собрал своей кровью..." [2. С. 350]. Вместе с

тем он был уверен, что новая Россия будет свободной, и поэтому может быть децентрализована, можно без всякой боязни дать нерусским народностям полную свободу национальной жизни и национального развития [2. С. 350].

Этот проект Крамарж обсуждал в Париже с Б.В. Савинковым, князем Г.Е. Львовым, П.Б. Струве, В.А. Маклаковым, М.А. Стаховичем и другими. Эти же конституционные основы он рассматривал в Ростове со специально созданной для этих целей особой комиссией², когда ездил к генералу Деникину осенью 1919 г., однако поддержки у последнего не нашел [3. С. 91].

Более подробно проблема государственного строительства рассматривалась в работе К. Крамаржа "Русский кризис". Этот обширный труд был опубликован в Праге в 1921 г. (в 1925 г. книга вышла на русском языке). Последняя его часть под названием "Возрождение" специально была посвящена принципам государственного устройства будущей России, России без большевиков.

Отдельные части работы "Русский кризис" были написаны Крамаржем еще в годы Первой мировой войны в тюрьме, куда Крамарж был заключен, несмотря на депутатскую неприкосновенность, по обвинению в предательстве родины и шпионаже в пользу России. (В связи с кончиной императора Франца Иосифа приговор о смертной казни ему был заменен двадцатилетним тюремным заключением. Выйдя на свободу летом 1917 г. по амнистии, Крамарж возобновил политическую деятельность.)

В книге "Русский кризис" Крамарж ставил задачу вскрыть причины краха Российской империи и указать пути преодоления кризиса после освобождения страны от большевиков. Он, конечно, не мог предполагать, что "большевистский рай" в России продлится более семидесяти лет, однако некоторые его мысли и сейчас звучат весьма актуально.

Крамарж считал, что проблемы федеративного устройства возникают в основном в многонациональных государствах. Анализируя национальную политику в России после Октября 1917 г., он обращал внимание на то, как "великодушно" был решен польский вопрос, как начали создаваться национальные единицы на Украине, в Латвии и т.д. Большевики, по его мнению, "совсем настежь раскрыли двери для создания подобных национальных образований" [4. С. 562]. Они "превратили Россию в голубятню, из которой мог вылететь всякий, кто хотел, и снова туда возвратиться" [4. С. 562]. Однако здесь же он задавался вопросом: устойчиво ли государство, имеющее в основе федеративного устройства национальный принцип? Продолжать ли политику большевиков, Крамарж указывал, что весьма скоро она резко изменилась, и большевики отказались от передачи государственной власти местным Советам, введя строжайшую централизацию. Но и это, по мнению Крамаржа, грозило опасностью будущности России, так как для государственной стабильности прежде всего необходимо (и эту его мысль нужно подчеркнуть) найти равновесие между степенью централизма и автономии. "Многие из тех, – писал Крамарж, – которые считают невозможным уберечь себя от последствий создания разных национальных республик, были бы готовы примириться с этим фактом, удовлетворившись хотя бы очень не глубоким объединением этих "государств" с будущей Россией, но зато в самой России желали бы ввести сильную централизацию" [4. С. 562].

Крамаржа часто упрекали за связь с А.И. Деникиным [5], выступавшим за единую и неделимую Россию. Крамарж тоже всегда был за сильное, жизнеспособное государство, но вместе с тем резко против излишней централизации. В книге он прямо заявлял, что считает "введение сильной централизации несчастнейшим решением вопроса" [4. С. 562].

Далее Крамарж пытался ответить на вопрос, какая форма государственного устройства, унитарная или федеративная, федеративная или конфедеративная, в России

² В состав комиссии входили: профессор П.И. Новгородцев, А.В. Кривошеин, Н.Н. Львов, Д. Долго-руков, Н.И. Астров и Н.Н. Чебышев.

могла бы в наилучшей степени обеспечить развитие страны. Он полагал, что в этом вопросе было допущено много "интеллигентского верхоглядства, непонимания значения заимствуемых с запада слов" [4. С. 562]. Именно потому, что царское самодержавие было централистским, родилось убеждение в необходимости отказаться от централизма. А так как в Германии и в Америке были федерации, то приняли также и для России принцип федерации, а большевики даже официально назвали свою республику федеративной. Крамарж подчеркивал, что нельзя слепо копировать западный образец, совершенно отвергая собственный прошлый опыт. "Государственно-правового сознания интеллигенции не беспокоило, – писал он, – что Германия, как и Америка, создавались добровольным соединением свободных государств в одно целое, что, следовательно, тут раньше были государства, а затем возникла федерация их, что федерация вообще означает соединение свободных государств в единое государственное образование с ясным разграничением прав целого и частей" [4. С. 562].

Своеобразие России, по мнению Крамаржа, состояло в том, что о государствах в России можно было говорить лишь применительно к Польше и Финляндии. Во всех остальных частях России, если бы историческое исследование кое-где и установило в прошлом существование самостоятельного государственного образования, силою или по соглашению соединенного с единой Российской империей, самая память об этом давно исчезла. (Это еще одно наблюдение Крамаржа, которое отчасти заслуживает внимания.) Но легкомыслие революционеров в этих основных для всей будущности России вопросах очень соблазнял «разные "окраинные" народы образовывать свои государства и требовать на мирной конференции их признания» [4. С. 563]. Чехословацкий политик справедливо полагал, что для многонационального государства национальный вопрос – один из основных, от правильного решения которого зависит будущее и сама судьба государства. Недооценка его важности граничит с халатной преступностью. Здесь весьма актуально звучат рассуждения Крамаржа о том, что считать решающим при образовании новых государств: внешний или внутренний фактор.

Крамарж однозначно полагал, что изменение государственных границ, отделение земель невозможны без официального согласия центра в лице всех его законодательных представителей. (Внутренний фактор важнее международного признания нового государства.) Россия же, по его мнению, не могла дать согласия на изменение государственных границ, так как "расширение русского царства не было делом случайности или русского захватничества. Московское государство должно было стремиться к преодолению своего континентального положения, своей оторванности от моря. Великому государству необходимо иметь свободный выход в свет, иметь свои моря, как легкие необходимы для дыхания" [4. С. 563].

Здесь следует выделить следующий весьма важный момент рассуждений Крамаржа о том, что "границы государства формируются длительным историческим развитием, диктуются стратегическими соображениями, связаны с национальной памятью о героическом прошлом, и их изменение, как правило, вызывает отрицательное отношение основного этноса" [4. С. 563]. Крамарж объяснял, что если бы не Петр, то доступа к морю добился бы кто-либо другой, но без моря Россия оставаться не могла. Поэтому он полагал, что если кто-нибудь попысился бы отрезать Россию от незамерзающих морей (Черного и Каспийского), история России началась бы с самого начала. Относительно Балтийского моря Крамарж писал еще в проекте Конституции: "Русский народ не может допустить, чтобы маленькие народности по побережью Балтийского моря милостиво разрешали ему выход в широкий Божий мир и чтобы выход этот по желанию могли закрыть" [2. С. 350]. Он считал, что Россия, "отдохнувшая и упорядоченная, при всяком государственном строе, должна будем обладать Кавказом для ограждения своей безопасности" [4. С. 563].

Крамарж указывал на опасность возникновения русского национализма в ответ на сепаратистские движения. Он предупреждал, что русский национализм может пере-

расти в "боевой", воинствующий, враждебный народам бывшей Российской империи, если России снова придется добывать то, что уже было некогда русским. Это, по его мысли, никак не способствовало бы поддержанию глобального мира. Здесь важно еще одно его соображение: о том, что государственные интересы не зависят от общественного строя страны. То есть имперские захватнические планы и политику могут иметь и проводить не только абсолютистские и тоталитарные режимы, но и демократические страны. Поэтому-то Крамарж и считал, что вопросы свободного развития российских народов желательно решать свободным соглашением и таким образом, чтобы в будущей децентрализованной России сохранилось единство страны наряду с предоставлением этим народам возможности жить свободной, национально-самостоятельной жизнью [4. С. 564]. Следовательно, одной из главных основ концепции Крамаржа был принцип сохранения территориальной целостности наряду с децентрализацией, национальной свободой окраин.

Как достичь этого равновесия? Вся последующая часть работы Крамаржа и содержит его соображения по данному поводу.

Тезисно его концепцию можно изложить следующим образом:

1. Для внутреннего единства государства нужна внутренняя сплоченность, которая базируется на общности экономических и финансовых интересов, а не на централизме и военной силе. Крамарж подчеркивал, что "будущность России в том, чтобы внутренне привязать к себе не только нерусские народности, но и собственных своих граждан" [4. С. 564].
2. Необходимо избрать путь широкой областной автономии с правом законодательства по всем местным делам и самостоятельными правительствами областей. Крамарж писал о необходимости того, чтобы Россия предоставила такую свободу своим гражданам, русским и нерусским, "сама, свободно, без всякого давления извне, свободным изъявлением суверенной воли всех граждан свободной России в свободно избранном Учредительном собрании" [4. С. 564].
3. Положение всех национальностей (в том числе и русских) должно быть равноправным. Здесь Крамарж считал недопустимым особое положение нерусских национальностей.
4. Ошибочно строить автономии по национальному принципу. Территориальный принцип предпочтительнее. Автономные области должны быть достаточно крупными. Крамарж думал, что нет никакой необходимости создавать эти области из граждан одной национальности. На Кавказе, например, это привело бы к нелепым отношениям. По его мнению, "свободное развитие каждой народности, если их несколько, можно обеспечить национальной автономией и ограничением участия как в центральном, так и в местном управлении, сообразно ее численности" [4. С. 565].
5. Отсталые народы надо культурно развивать, прежде чем предоставлять им широкую автономию. Это в первую очередь касалось Азии. Но Крамарж вместе с тем подчеркивал, что эти исключения не могут служить доводом против необходимости единообразия в решении вопроса о будущем управлении во всей России.
6. Несмотря на широкие автономные права отдельных областей, центр должен сохранять в своей компетенции общие вопросы военной, дипломатической, экономической, социальной и культурной политики, обеспечивающие единство государства. Не только законодательство в специальных экономических вопросах, но и администрация во многих отраслях управления должны остаться у центра, чтобы избежать местных злоупотреблений и обеспечить эффективность функционирования всего государственного целого. (Автономия, но разумная.)
7. Необходимы очень четкое и разумное разграничение полномочий центра и областей, а также их финансовая самостоятельность.
8. Вопрос о главенстве законодательных органов центра и областей должен быть решен в Государственной Думе или Государственном совете с решающим большинством представителей областных дум.

9. В автономных областях не должно быть назначаемых из центра представителей, типа генерал-губернатора или наместника. (То есть, сильная единоличная власть на местах опасна). "Мне кажется, – писал Крамарж, – предлагаемая мною форма устройства областного управления гораздо лучше обеспечивает единство России, хотя на первый взгляд и придает областным правительствам самостоятельный характер" [4. С. 568].
10. Россия должна сохранять единый источник всей государственной власти и для центра, и для областей.
11. Областные правительства должны стать министерствами, ответственными перед областными думами.
12. Должны быть хорошо отлажены связь и рычаги управления и контроля по оси центр – область. Нужно возложить ответственность на главу государства и имперского канцлера за назначения областных руководителей. (Имперский канцлер призван воплотить в себе идею примирения децентрализации России с крепкой центральной властью.)
13. Областные законы должны утверждаться главой государства. Это еще один рычаг влияния на областные дела.
14. Россия должна строиться на принципах силы целого и свободы частей.
15. Разрешение споров о компетенции центральных и областных учреждений можно передать административному суду. Государственной Думе и Государственному совету.

В заключении К. Крамарж подчеркивал, что задача государственно-административного строительства в России очень трудна. Но он призывал верить, что Россия найдет своего строителя, как и своих освободителей. Он писал, что "Россия, основанная на одной силе централистской бюрократии, развалилась, как карточный домик" [4. С. 571]. Поэтому Крамарж полагал, что этот опыт послужит предостережением всем русским людям на пути возрождения их родины.

Современные политики редко учитывают исторический опыт либо обращаются к трудам своих предшественников. Вовсе не абсолютизируя мнение одного из видных чешских политиков, тем более что ни в рамках Австро-Венгрии, ни в условиях Чехословацкой республики не удалось эффективно решить национальный вопрос, представляется все же заслуживающим внимания широкое обсуждение вопросов государственно-правового устройства многонациональных стран, опираясь на пережитый опыт и существовавшие политические концепции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Politická elita meziválečného Československa 1918–1938. Kdo byl kdo za první republiky. Praha, 1938.
2. Крамарж К.П. Основы Конституции Российского государства. // Архив русской революции. М., 1991. Т. 1.
3. Sauer J. Karel Kramář na mírové konferenci v Paříži // Mezinárodní vztahy. 1993. Č. 3.
4. Крамарж К. Русский кризис. Прага; Париж, 1925.
5. Воля России. 1922. № 14. С. 2; Лебедев В.Л. Россия, славянство и интервенция (по поводу русской политики д-ра Крамаржа) // Воля России. 1922. № 6 (34). С. 19–27.



© 2001 г. Е.П. АКСЕНОВА

СЛАВЯНОФИЛ А.А. БАШМАКОВ О КРИЗИСЕ СЛАВЯНСКОЙ ИДЕИ

"Мавр свое дело совершил, И пусть себе с Богом идет!" – эта "пророческая формула"*, которую в каком только смысле не употребляют, однажды оказалась использована и в связи с кризисом идеи славянского единения. Привел эти слова А.А. Башмаков – человек, по его собственному определению, "40 лет стоящий на боевом посту славянской идеи" [1. С. 106].

Александр Александрович Башмаков (1858–1949) – известный публицист славянофильского направления, писатель, ученый-антрополог. Учился на юридическом факультете Одесского (Новороссийского) университета. В 1881–1882 гг. служил в Восточной Румелии секретарем законодательной комиссии румелийского управления, затем директором библиотек и музея этой области; вернувшись в Россию, продолжил деятельность в юридической области, с 1889 г. принимал участие в работах по судебной реформе Прибалтийского края; в 1898 г. перешел на службу в Министерство иностранных дел, в следующем году совершил путешествие по Македонии, в 1908 г. вновь побывал там, а также в Черногории и Албании (в связи с вопросом о строительстве железной дороги из Сербии к Адриатике). Так что о жизни славянских народов А.А. Башмаков знал не понаслышке.

А.А. Башмаков занимался и журналистской деятельностью – в 1904–1905 гг. являлся редактором "Journal de St.-Petersbourg", издавал газеты "Народный голос" (1905–1906), "Правительственный вестник" (1906). Многие годы он состоял членом Петербургского славянского благотворительного общества и принял активное участие в проведении съезда славянских обществ в Петербурге в 1909 г.¹ В дореволюционный период им написано немало работ, в том числе: "Болгария и Македония" (1899), "Балканские речи" (1909), "Через Черную гору в страну диких гегов" (1913), "Сербская история до турецкого владычества" (1913).

В дальнейшем, оказавшись в эмиграции, Башмаков работал библиотекарем в Institut de Paléontologie Humaine, преподавал в École d'Anthropologie в Париже. Там же в 1937 г.

Аксенова Елена Петровна – канд. ист. наук, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН.

* Башмаков считал, что эти слова принадлежат Шекспиру, хотя в действительности это цитата из пьесы Ф. Шиллера "Заговор Фиеско в Генуе".

¹ На съезде почетным председателем был избран В.И. Ламанский, но фактически председательствовал А.А. Башмаков. Во время съезда произошел раскол: на одной стороне оказались неослависты (С.Ф. Шарапов, П.Н. Милюков, Н.Н. Львов, А.Л. Погодин и др.), на другой, по определению С.Ф. Шарапова, «"казенные" славянофилы и "истинно русские" националисты с вожаками в лице проф. Кулаковского, Башмакова и Вергуна» [2. С. 179].

вышел на французском языке труд ученого "Пятьдесят веков этнической эволюции вокруг Черного моря" ("50 siecles d'evolution ethnique autour de Mer Noire")².

В 1924 г. в связи с 25-летием Славянского благотворительного общества в Болгарии³ Башмаков написал статью, которая была опубликована в юбилейном сборнике общества [1]. Человек славянофильских убеждений, долгие годы веривший в славянское единство, озаглавил свою статью "Кризис славянской идеи". При этом следует учесть, что материалы сборника как раз были посвящены тем или иным аспектам славянской идеи. Что же заставило русского славянофила с болью и разочарованием говорить о ее кризисе?

В первую четверть XX в. славянская идея не однажды подвергалась серьезным испытаниям на прочность. Даже в среде ее "ревнителей" не было единства. В своих речах 1908–1909 гг. в петербургском Славянском обществе Башмаков отмечал, что и среди российских сторонников славян существуют различные взгляды на славянский вопрос. "Неославянофильство" (неославизм), говорил он, "заражено душевным холодом космополита и лишь случайно как бы свихнулось на путь чуждой ему и не выстраданной всем сердцем – славянской идеи" [5. С. 8]. Но Башмаков осознавал, что и опора только на старую славянофильскую школу недостаточна; необходимо, "оставаясь на исторической почве наших русских и славянских национальных начал... проявить чуткость к зарождающимся нуждам и сложным запросам современной жизни народов" [5. С. 30–31].

Башмаков не мог не замечать, что славянский вопрос становится разменной картой в политической игре различных сил⁴, но тем не менее "обращение именно враждебных славянской идее кругов к ... культивированию славянской взаимности" радовало его, но и, с другой стороны, настораживало: "Неужто все на свете дело моды, а права всегда последняя мода?" И все же, считал он, "в России идея славянского единения не забыта", и, обращаясь к славянам, призывал их: "Знамен не сдавать!" [5. С. 6–7, 11].

В другой речи того же периода он подчеркнул, что, в отличие от Вены, всегда сеявшей рознь между славянами, Петербург должен объединить, сплотить славян. Именно из России должен прозвучать "призыв к единению братьев одного племени, которых и различная вера ссорить не должна". Это, говорил Башмаков, "главный наш практический идеал"; воплощением же этого идеала может стать создание Балканского союза [5. С. 15–16].

Башмаков понимал, что в "славяно-русской солидарности" происходят изменения; потому Россия должна в соответствии с изменившейся политической обстановкой ставить новые цели, и только она может указать их "славянским вождям". Необходимо признать стремление славянских народов к самостоятельной жизни, к государствен-

² Известный философ-эмигрант И.А. Ильин в 1948 г. характеризовал А.А. Башмакова как "выдающегося русского антрополога нашего времени, пользующегося мировым признанием"; ссылаясь на эту его книгу и цитируя ее, Ильин писал, что Башмакову удалось установить «замечательный процесс расового синтеза, осуществившегося в истории России и включившего в себя все основные народности ее истории и территории. В результате этого процесса получилось некое величавое органическое "единообразие в различии"» (цит. по: [3. С. 434–435]).

³ Болгарское Славянское благотворительное общество (Славянского благотворительно дружество) было образовано в 1899 г. в Софии наподобие аналогичного общества в Петербурге. Оно осуществляло благотворительную, гуманитарную, культурную и общественную деятельность, поддерживало связи со славянскими обществами других стран, в первую очередь – России. Большую роль в деятельности общества сыграл его председатель Ст. Бобчев (с 1903 г. по 1940 г.). Общество выпускало журнал "Славянски глас", газету "Славянски вести" и другие издания; приняло активное участие в подготовке и проведении Славянского съезда в Софии в 1910 г. Не проповедуя панславизм и мессианизм, общество всегда поддерживало идею славянской взаимности [4. С. 63–232].

⁴ Член ЦК кадетской партии П.Н. Милуков в 1909 г. прямо заявлял: "Мы преследуем славянскую политику лишь в пределах собственных интересов". Столь же откровенные высказывания на эту тему можно найти в докладе Н.П. Аксакова и С.Ф. Шарапова "Германия и славянство" на съезде представителей славянских обществ в 1909 г.: "Приходится выбирать между опасностью разложения России внутреннего, германского нашествия внешнего и переходом к славянской политике" (цит. по: [2. С. 176, 179]).

ной независимости. Однако славянская "программа" Башмакова, учитывая "политическую действительность", выглядит все же дилетантской. Он предлагал на основе данных языковедения и этнографии наметить "возможных и необходимых *народных особей* в славянской семье" (вне России это: 1) сербо-хорваты с присоединением словенцев, 2) болгары, 3) чешско-моравский народ с присоединением словаков и 4) поляки). Значение славянофильства он видел в осуществлении цели, которая заключается в "государственно-культурном определении указанных четырех народных единиц, с соответственной переработкой карты Европы в более или менее отдаленном будущем" [5. С. 32] (это будущее наступило гораздо быстрее, чем он мог предположить).

Признавая теоретически и право польского народа на независимость, Башмаков, тем не менее, относил осуществление этой перспективы к более далеким временам, считая, что в период после первой российской революции "преступно и безумно" расшатывать русское государство польским "освободительным движением"⁵: "Мощь России, как цельной и нераздельной Империи, есть дело необходимое для того, чтобы славянство, как целое, сохранило свою жизненность и отстояло самое свое существование", "только с Россией и через Россию может объединиться славянский мир" [5. С. 32–33]. За славянофильской фразеологией здесь не удастся скрыть национально-государственный интерес и тот "политический" подход, от которого Башмакову хотелось бы "очистить" славянскую идею. Он сам же обращает внимание на то, что российская дипломатия не использовала факт захвата в 1908 г. Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины, "чтобы способствовать созданию Балканского союза и упрочить престиж России на славянском юге" [5. С. 36].

Аннексия Боснии и Герцеговины показала зыбкость славянского единства. Славянские съезды 1909 г. в России и 1910 г. в Болгарии, начавшаяся вскоре первая Балканская война оживили славянскую идею. Но обострение Македонского вопроса и вторая Балканская война – между бывшими союзниками Болгарией и Сербией – привели в тот период к краху объединительных тенденций в среде славянства. Первую мировую войну славяне встретили не только разъединенными, но и в разных лагерях. После войны чехи, словаки, поляки обрели государственную независимость, произошло объединение сербов, хорватов и словенцев (насчет этого Башмаков не ошибся). Но разграничение славянских земель по международным договорам привело к напряженности, взаимному недовольству и конфликтам между славянскими странами, что также не способствовало славянской взаимности. В начале 1920-х годов снова стали звучать призывы к сближению славянских народов, но они оставались без последствий. Именно в этот период и была написана Башмаковым статья "Кризис славянской идеи".

Уже из начальных фраз статьи становится понятным, что опасения относительно жизнеспособности славянской идеи возникали у Башмакова и раньше. Еще в 1900 г. в журнале "Българска сбирка" (№ 1) он опубликовал статью под названием "Мъртва ли е или жив славянският идеал?" С тех пор прошло четверть века, произошли серьезные изменения в славянском мире (славянские народы стали самостоятельными и развивают свою государственность), но, замечает автор, вновь "приходится задаваться тем же вопросом". Благодаря "широким успехам в осуществлении строительства в духе славянского возрождения" многие деятели национальных движений стали иначе смотреть на проблему славянской солидарности⁶ (а именно – в духе приведенного высказывания в начале нашей статьи) [1. С. 105].

⁵ В этом вопросе Башмаков и другие "славянофилы старого закала" отстаивали позицию, противоположную той, которую занимали представители неославизма (хотя и не все), говорившие о необходимости "примирения с поляками", "восстановления национальных и земских прав польского народа" и утверждавшие, что "польскую опасность, если бы таковая была для России, стыдно и грешно сравнивать с опасностью германской" (цит. по: [2. С. 178–179]).

⁶ В 1908 г. Башмаков подчеркивал, что национальная идея, к которой обращаются славянские народы, в том числе и русский национализм, не могут иметь прочной основы "вне тесного единения... с сознанием идеи славянского взаимства" [5. С. 4].

Башмаков связывает это прежде всего с отношением славянских стран к России, в котором царствуют "какая-то условная слащавость и неискренний тон". С одной стороны, славяне "твердят на все лады", что Россия "наша общая *майка* (мать. – Е.А.), и мы без нее жить не можем". С другой стороны, «к имени "России" относятся с глубоким небрежением, иногда с иронией, иногда в тоне оскорбительного сожаления и снисхождения, нередко с ненавистью, прикрывая эту сложную психику лицемерной фразеологией, поддельвающейся под личину русофильства" [1. С. 105]. Первое отношение, как считал автор, имеет в основе "весьма честное чувство, ведущее свое происхождение из глубокого исторического прошлого", которое, однако, постепенно угасает под воздействием европейской (западной) культуры, влияющей на "понижение *славянской ценности*" каждого славянского народа. Второе, по оценке Башмакова, "гнусное настроение, – безусловно преобладает в славянской интеллигенции, т.е. в той среде, которая *делает* политику и которая, на русских же костях поднялась до ступени триумфаторства перед лицом Европы" [1. С. 105].

Башмаков осознавал "неприличие", резкость тона своей статьи в тот момент, когда славянский мир "на высоте своего неожиданного и негаданного успеха и величия", ждет в свой адрес "славословия". Но он решил выдержать этот нелюдский тон до конца и сказать прямо обо всем, что его беспокоило. Он считал, что "славянские народы не выдержали того экзамена, который задала им история в наиболее грозном узле событий". После балканских и Первой мировой войн "славянство как целое выдвинулось значительно на политической сцене мира", с которой сошла Россия, "окровавленная и опозоренная", хотя "плоды мировой войны достигнуты главным образом ее же усилиями". Славянство, воспользовавшись этими плодами, отринуло Россию [1. С. 106].

Начало 1920-х годов – время, когда первая волна русской эмиграции хлынула в славянские страны. Различные организации и общества занимались устройством на новых местах жительства лишенных родины россиян (в судьбе эмигрантов из России принимало участие и Славянское благотворительное общество в Болгарии). Но Башмаков и в этой акции помощи русской эмиграции усматривал не то отношение славян к русским людям, какого они заслуживали. В нем говорила уязвленная гордость представителя великой державы, которая, как обычно подчеркивали славянофилы, играла (в прошлом) ведущую роль в славянском мире и немало доброго сделала славянам, особенно балканским. Поэтому Башмаков довольно резко высказывался о "неблагодарных" славянских народах, которые хоть и оказывали гостеприимство части русских беженцев, "выброшенных за пределы России", но «не поняли, что одно благотворительное отношение ("Христа ради") не есть надлежащее мерило *долга* (курсив мой. – Е.А.) славянства перед Россией». Славяне должны были "более вдумчиво" отнестись к эмигрантам, "допустив их, как близкий и родной элемент, по меньшей мере с тою степенью гостеприимства, которая всегда оказывалась славянам внутри России. А именно этого-то и не было" [1. С. 106]⁷.

Укоряя славян, Башмаков в то же время отмечал, что к "страждущему и несчастному элементу" отнеслись "по доброте", по законам "милосердия" (оказанного "в трогательных формах") как раз "в странах чужих и даже у бывших неприятелей, а именно: в Германии, в Австрии, в Венгрии, в Турции, в Швеции и Норвегии. Одновременно же с этим, русские, попавшие в страны (из бывших союзников), совершенно безразличные и чужие, но с широким мировым значением – как Англия, Франция, Америка – не нахвалятся возможностью, посредством упорной борьбы одолеть

⁷ В частности, переписка ученых, оказавшихся в "первой волне" эмиграции в начале 1920-х годов, во многом подтверждает справедливость слов Башмакова и показывает те трудности, не только материального и бытового характера, но и в профессиональной сфере, с которыми сталкивались русские эмигранты в славянских странах [6; 7].

собственным творчеством, жестокие условия беженства"⁸. Башмаков признает, что там "можно умереть от голода" в борьбе за существование, но этому риску в равной степени подвержены и сами жители западных стран. По крайней мере, русские люди на "неславянском" Западе чувствуют себя свободными и равноправными, там с них снято «позорное клеймо "беженства"» [1. С. 106–107].

В славянских странах дело обстоит иначе, писал Башмаков, – там, с одной стороны, дают "даровую подачку" беженцам из России, "слабым и неспособным к труду, дабы поднять их до общего низкого уровня прозябания", а с другой стороны, "задерживают всякое развитие русских способных сил, не давая им прорваться к творчеству", в то время как "верные сыны России" надеются, что "по возвращении из изгнания" именно их "творческие силы" могут пригодиться родине. Это утверждение Башмакова, безусловно, отражало чаяния определенной части эмиграции, мечтавшей тем или иным способом снова оказаться в своем отечестве. Нежелание помочь этим "творческим силам" привело, по словам автора, к тому, что "русские люди глубоко разочаровались в ценности славянской идеи". Башмаков утверждает, что к нему, как стороннику и защитнику славянской идеи, не раз обращались русские изгнанники с вопросом, стоило ли из-за славян ставить на карту судьбу своей страны, своей культуры, "бросаться в исполинский бой с германским миром из-за людей, до сих пор не понявших великого исторического подвига русского народа" [1. С. 107].

С болью Башмаков замечал, что "славянская атмосфера" все больше "выталкивает надоевших русских страдальцев и дает им почувствовать, что они уже не братья, не свои, а чужие". Среди писателей, публицистов, государственных деятелей славянских стран "руссофобия различается широкой волной". Это заставляет русских людей упрекать славянофилов в нереальности их идеологии [1. С. 107]. Чуть ниже, привлекая в качестве "союзника" французского публициста А. Муссе (транскрипция Башмакова), опубликовавшего в журнале "La Revue Universelle" (1921. № 11) статью "L'inconnue Slave et la Russie de demain"⁹, Башмаков вместе с автором статьи пытается обратить внимание на "органическую связь между ростом славянского мира и силою славянофильского учения", подчеркивая, что это учение не имеет ничего общего с панславизмом, что оно является "целой системой политической и моральной философии, вытекающей из многовекового политического, бытового и религиозного прошлого русского народа". Славянофильство представляет собой "исторический синтез русского народного духа"; из этого синтеза родилась та сила, которая "расчистила путь к возрождению славянства и призвала его к новой жизни" [1. С. 109].

Башмаков вынужден признать, что славянофильская идеология переживает глубокий кризис [1. С. 107]. Но и сама славянская идея испытывает не меньший кризис, "связь России с славянскими народами подвергается критической переоценке". Автор статьи отмечает, что "силою событий" поставлен недвусмысленный вопрос: "Стоит ли славянство того, чтобы Россия воплощала в себе жертвенную идею служения его благополучию и возрождению, в том высоком смысле, как выразило эту идею славянофильство?"¹⁰. Не отвечая на поставленный вопрос, он задает следующий, также риторический, вопрос: "...какой смысл имела эта чудная, поэтическая страница

⁸ Далеко не всем ученым, попавшим на Запад, рисовались в столь светлых тонах возможности их жизни и работы там [6].

⁹ Башмаков дал не совсем точный перевод названия статьи: "Неведомая сила славянства и завтрашняя Россия" – слова "сила" в оригинале нет.

¹⁰ В стихотворной форме эту идею выразил А.С. Хомяков, слова которого приведены Башмаковым в статье [1. С. 108]:

Ты встань, о Русь, верна призванью,
И бросься в пыл кровавых сеч!
Борись за братьев крепкой бранью,
Рази мечом, – то Божий меч!

русского прошлого", когда Россия "*наперекор Европе* вызвала славянство из могил"¹¹ [1. С. 108]¹¹.

Почему Башмаков говорит о "поэтической странице" русской истории, связанной с возрождением славянства? Потому что "миссия" России в отношении славян, как ее понимали ранние славянофилы, наиболее ярко выражена в стихотворной оде А.С. Хомякова "Орел", которую Башмаков обильно цитирует [1. С. 108–109], приводя, в частности, и такие отрывки:

И ждут окованные братья, –
Когда же зов услышат твой,
Когда ты крылья, как объятья,
Прострешь над слабой их главой?..
.....
Их час придет: окрепнут крылья,
Младые когти подрастут,
Вскричат орлы – и цепь насилья
Железным клювом расклюют!

Последние строчки как нельзя лучше подошли для того, чтобы Башмаков мог написать, что «все намеченные в этой "Оде" цели достигнуты. И что же мы видим?». То, что в славянстве преобладает "небрежное отношение *к той именно исторической и подлинной России*", образ которой запечатлен в оде Хомякова. Само по себе это не могло не расстроить верного славянофильским идеалам Башмакова, но особую горечь его переживаниям придавало то обстоятельство, что славяне спешат "заводить тесные узы" с новой Россией, "которая всегда и всюду жестоко осмеивала эти идеалы" [1. С. 109]. Это вдвойне обидно было сознавать славянофилу-эмигранту.

Цитируя упомянутую выше статью французского публициста, Башмаков отмечает, что "вековое признание" России увенчалось ореолом мученичества, когда "все события произошли так... что провал Российского Государства должен стать выкупом за свободу молодых славянских народов. Европа согласилась, наконец, признать их право на жизнь, но только в тот момент, когда великий славянский брат потонул в беспросветном хаосе" [1. С. 110].

Башмаков приходил к неутешительному выводу о том, что "постановка славянского вопроса" в славянских странах резко изменилась. Новый подход выражается формулой "Славянство без России", или же ее место в семье славянских народов отдается "разрушителям России"¹². Будущее покажет, может ли "окрепнуть на такой безыдейной основе юная сила славянства" [1. С. 110].

Но несмотря на то, что "уродливая действительность" (по словам автора) не соответствовала славянофильским представлениям о славянском мире, Башмаков все же не дает пессимистического прогноза, у него остается вера в то, что "идея жива и плодотворна". Эта идея "может оживить славянство и оградить его от гибели", но при одном непременном условии: «...славянство должно наконец понять, что жертвенное служение должно быть обоюдным. Россия целые столетия несла крест славянского возрождения на своих раменах. Пусть братья наши проникнутся в свою очередь святостью этой идеи, стоящей выше так называемой "реальной политики",

¹¹ Если в данной статье Башмаков в основном обращает внимание на ту роль, которую Россия играла в судьбах балканских славян, то в одной из речей, произнесенных в петербургском Славянском благотворительном обществе в 1908 г., он подчеркивал, что для самой России, как он это понимал, значила ее деятельность на благо славян Балканского полуострова: "мы там в погоне за смыслом всего нашего существования на земле; там часть русской души; там русская слава и величие связаны тысячами узлов с судьбами наших сородичей" [5. С. 14–15].

¹² К этим словам дается примечание редакции сборника, суть которого в том, что автор преувеличивает, и на самом деле известные славянские публицисты не представляют себе славянства без России, о чем свидетельствуют и некоторые статьи сборника. Однако можно предположить, что Башмаков ставил вопрос шире и имел в виду не только представителей прессы.

и пусть они поймут, что нет прочности в строении славянского мира без тесной, искренней связи с духовной жизнью русского народа» [1. С. 110].

В этих призывах к славянам слышится надежда, которую часть русского зарубежья возлагала на внешнюю помощь, а Башмаков – на помощь славянских стран в деле возвращения эмигрантов на родину, реставрации прежнего образа жизни (для этого, как отмечалось выше, славянские народы должны были в первую очередь способствовать всестороннему развитию творческих сил русской эмиграции). В подобной помощи Башмаков видел ответный "долг" славянства перед Россией.

Рассмотренная статья интересна прежде всего тем, что о кризисе славянской идеи заговорил представитель славянофильства – того направления общественной мысли, теории которого строились на признании "особности" славянского мира и ведущей роли России в этом мире. Вера в незыблемость этих устоев сохранялась у славянофилов и их последователей на протяжении всего XIX в. и в начале XX в., вплоть до того, как бурные политические события в России и во всей Европе поколебали уверенность в возможности сплоченных действий славян (хотя и XIX в. не раз давал повод усомниться в единстве славянского мира¹³).

Славянская идея уже не представляется славянофилу Башмакову свободной от современных ему политических реалий. Он наблюдает, как ею манипулируют различные общественные силы во внутри- и внешнеполитической борьбе. И это, с одной стороны, дает Башмакову надежду на "выживание" идеи, а с другой – приносит обеспокоенность за ее судьбу, подверженную модным политическим веяниям. Башмаков не мог не уловить общую для всех славянских народов позицию, при которой национальные задачи представляются более важными, нежели общеславянские. И все же он с болью и сожалением говорил о кризисе, а не о полном крахе славянской идеи, надеясь на ее возрождение (как и возрождение прежней России) и осуществление в будущем, не указывая, правда, ни временных пределов, ни более или менее конкретных форм ее воплощения.

А.А. Башмаков дожил до 1949 г. и, следовательно, не раз мог наблюдать и трудные времена в межславянских отношениях, и стремления к взаимосвязям. Наиболее ярко славянское взаимодействие проявилось в годы Великой мировой войны. Создание после войны "социалистического лагеря", основу которого в Европе составляли славянские страны, было, в какой-то степени, осуществлением славянской идеи, хотя во главе блока стояла не милая сердцу эмигрантов старая Россия, а ненавистный многим из них СССР. В дальнейших судьбах славянских народов, вплоть до наших дней, также случались подъемы и спады во взаимоотношениях, в симпатиях и антипатиях, но даже в самые трудные для славянской общности времена все же сохранялись силы, которые верили и верят в жизнеспособность славянской идеи (оставшейся до сих пор мифологемой) и считают, как в свое время А.А. Башмаков, что она не умерла, она переживает кризис, но не крах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Башмаков А.А. Кризис славянской идеи // Юбилейный сборник на Славянское дружество в България. 1899–1924. София, 1925.
2. Славяноведение в дореволюционной России. Изучение южных и западных славян. М., 1988.
3. Русская идея. М., 1992.
4. Лазарова Е. Славянское движение в България. София, 1997.
5. Башмаков А.А. Балканские речи. СПб., 1909.
6. Аксенова Е.П. Вдали от родных берегов (Об условиях жизни и работы русских ученых в первые годы эмиграции) // Славянский альманах. 1997. М., 1998.
7. Аксенова Е.П., Горяинов А.Н. Русская научная эмиграция 1920–1930-х годов по переписке М.Г. Попруженко и А.В. Флоровского // Славяноведение, 1999. № 4.
8. Косик В.И. К.Н.Леонтьев: болгарская тема – pro et contra // Славянский альманах. 1997. М., 1998.

¹³ Недаром К.Н. Леонтьев замечал, что "есть славянство, но что славизма, как культурного здания, или нет уже, или еще нет" (см.: [8. С. 130]).



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС И НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕНЬШИНСТВА В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ. 1944–1948 ГОДЫ (МАТЕРИАЛЫ КРУГЛОГО СТОЛА)

Острота национальной проблемы в европейском посткоммунистическом пространстве привлекает к ней внимание ученых-гуманитариев, в том числе историков, ибо сегодняшние конфликты зачастую уходят корнями в глубокое прошлое. Круглый стол, проведенный в Институте славяноведения РАН (ИСл) 20 февраля 2001 г. под руководством д-ра ист. наук В.В. Марьиной, был посвящен очень короткому по историческим меркам, но чрезвычайно сложному и политически насыщенному отрезку истории Восточной Европы (в том понимании данного термина, которое было порождено ялтинско-потсдамской системой послевоенного устройства Европы). В советской историографии 1944–1948 гг. назывались периодом народно-демократических революций; сегодня они характеризуются как время "ограниченной", "лимитированной", "управляемой", "регулируемой" демократии. Однако и раньше, и теперь эти годы расценивались как переходный период: прежде – от капитализма к социализму, сейчас – от правого авторитаризма (в большинстве стран) к тоталитарной системе советского типа. Кроме того, это было время перехода от войны к миру, время включения ряда стран в советскую сферу влияния, что, конечно, накладывало отпечаток на все происходившие в них политические процессы.

В сложнейших условиях послевоенного времени не сходил с повестки дня и национальный вопрос. При этом политики разных ориентаций стремились учесть негативный, конфликтный опыт межвоенного двадцатилетия и особенно военных лет. Закрепившиеся во власти коммунисты были вынуждены, с одной стороны, идти на компромисс с партнерами по Национальным фронтам, а с другой – все больше оглядывались на Москву, пытались выстроить свою линию в национальной политике, все более подчиняя ее задачам строительства социализма, который, как считалось, должен был окончательно разрешить национальный вопрос. "Окончательного" решения, однако, не получилось, что наглядно продемонстрировало последнее десятилетие XX в. – не только кровавые события в Югославии, но и быстрый развал, казалось бы, более благополучной чехословацкой федерации, непрекращающиеся национальные трения в некоторых других странах. В чем причина такого итога? Повлияли ли на него ошибки в решении национального вопроса на предшествующих этапах исторического развития стран региона, или дело было (независимо от ошибок) просто в естественном и непреодолимом стремлении народов к созданию собственных национальных государств? А может быть, к этому стремились лишь политически амбициозные элиты этих народов? Имелись ли нереализованные альтернативы конфликтному опыту последующих десятилетий?

На эти и многие другие вопросы должны пытаться дать ответ историки, стремящиеся выявить истоки сегодняшних чрезвычайно острых национальных проблем. При этом следует иметь в виду, что на различных этапах развития каждой страны национальный вопрос имел свои содержание и особенности. Нередко возникал как сугубо

внутренний, он зачастую выходил за государственные рамки. Во всяком случае, необходимо иметь в виду многоаспектность национального вопроса в условиях Восточной Европы 1944–1948 гг. В нем переплелись проблема границ, политика в отношении национальных меньшинств, депортации и репатриации населения, а наряду с сугубо политическими проблемами и задачи выравнивания уровней экономического, культурного развития отдельных народов в рамках одной страны. В разных условиях то одна, то другая сторона национального вопроса выходит на первый план.

В центре внимания участников Круглого стола находилась проблема национальных меньшинств, чрезвычайно остро стоявшая в регионе в тот период. Речь шла как о концепциях, программах по национальному вопросу, выработанных различными политическими силами к концу Второй мировой войны, так и об их практической реализации, а также о роли советского фактора и – шире – о влиянии великих держав на пути разрешения проблемы меньшинств.

Директор Института славяноведения чл.-корр. РАН *В.К. Волков* призвал коллег-историков задуматься над вопросом: что же было в XX в. главным двигателем развития общества – социальные или национальные проблемы и способы их разрешения? Идейное наследие XIX в. легло в основу разных теорий по национальному вопросу (в рамках марксистской традиции, например, – австромарксистской и ленинской). При этом не только большевики, но и представители некоторых других течений рассматривали национальный вопрос лишь как инструмент достижения власти. Первая мировая война, с одной стороны, радикально перекроив европейскую карту, привела к возникновению новых национальных меньшинств, с другой стороны, в условиях Версальской системы национализм возводится в ранг государственной идеологии большого ряда стран; правящие элиты титульных наций берут курс на создание в перспективе моноэтнических государств даже там, где предпосылок для этого не было. Все это породило новые проблемы, попытки решения которых в русле правого и левого тоталитаризма оказались неэффективны, зачастую лишь усугубляя положение. Развал в конце XX в. коммунистических федераций (СССР, Югославии, Чехословакии) привел к возникновению нового феномена – государственного национализма еще недавно политически зависимых наций. Партийная номенклатура бывших республик превратилась в этнократию нового, посткоммунистического типа, коммунистическая ортодоксия уступила место крайним, иногда фундаменталистским проявлениям националистической идеологии и политической практики.

Доклады, посвященные проблемам первых послевоенных лет, предварил ряд выступлений более общего плана. Д-р. ист. наук, проф. *В.Г. Сироткин* (Дипломатическая академия МИД РФ) выступил с сообщением "Национальный вопрос в концепциях Вильсона, Коминтерна и Сталина". Первая мировая война, обозначив цивилизационный разрыв в истории Европы, уничтожив три большие империи, расчистила место для грандиозных экспериментов в области переустройства границ. Их инструментами становятся, с одной стороны, Лига Наций, а с другой – Коминтерн. За каждой из этих структур стояла определенная программа решения национального вопроса, но ни одна из них не оправдала себя. Право наций на самоопределение (как в вильсоновском, так и в коминтерновском понимании) отступает под давлением геополитики и довольно быстро дискредитируется, что проявилось в торжестве нацизма и правого авторитаризма, отразилось в эволюции коммунистической идеологии от концепции мировой революции к сталинской имперской доктрине. В 1990-е годы, с распадом СССР, Чехословакии и Югославии, происходят до известной степени сходные процессы, самоопределение ряда наций, утвердивших свою собственную государственность на обломках многонациональных федераций (в известном смысле по "модели Вильсона"), не решило национальных проблем и не принесло стабильности, тем более, что в современной Европе отсутствует глобальное системообразующее соглашение типа Версаля, Ялты-Потсдама и Хельсинки. Между тем, национально-сепаратистские тенденции отнюдь не локализируются только в Восточной Европе, они все более угрожают целостности, казалось бы, благополучных западных стран

(Британия, Канада, Бельгия, Испания, Франция). Однако война на Балканах наглядно показала, что окончательный итог переустройства прежних федеративных образований лежит не в плоскости самоопределения наций, а в сфере столкновения интересов более крупных держав.

Д-р. ист. наук *Р.П. Гришина* (ИСл) проследила эволюцию идеи права наций на самоопределение, оказавшей долгосрочное влияние на практику международных отношений в Европе. Эта идея впервые прозвучала на Лондонском конгрессе II Интернационала в 1896 г., в 1903 г. по инициативе Ю.О. Мартова и Г.В. Плеханова была включена в программу РСДРП. Дальнейшее свое развитие в недрах II Интернационала эта идея получила во время Первой мировой войны, особенно в преддверии ее завершения, когда в повестку дня все настойчивее вставали вопросы, связанные с выработкой условий будущего мира и принципов послевоенного переустройства. Уже в 1915 г. на социалистических конференциях в Копенгагене, Лондоне, Вене предлагается учредить третейский суд для урегулирования международных конфликтов, осуществления постепенного разоружения. Влиятельным выразителем позиции центристского большинства социалистических конференций, требовавшего установления мира без аннексий и контрибуций, без победителей и побежденных, стал К. Каутский.

Конец XIX – начало XX в. характеризовались ростом влияния социалистического движения, к концу войны не менее десятка социалистов входили в состав кабинетов министров европейских стран. В этих условиях социалисты всерьез рассчитывали по окончании войны, параллельно с мирной межгосударственной конференцией, провести свою международную социалистическую конференцию с целью оказать давление на правительства и принимаемые ими решения и избежать "империалистического мира".

Аккумулятором ряда идей, носившихся в воздухе и высказывавшихся не только социалистами II Интернационала, но также некоторыми политиками либерального толка, стал В. Вильсон, чему способствовал его статус президента США. Однако эти идеи были восприняты им от некоторых европейских политиков. Министр иностранных дел Великобритании Э. Грей писал Вильсону 10 августа 1915 г.: "Жемчужиной величайшей цены была бы некая Лига Наций, на которую можно было бы полагаться при решении споров между двумя любыми государствами с помощью арбитража, посредничества и других способов". В письме от 22 сентября того же года Грей продолжал: "Я не знаю, какое правительство будет готово воспринять эту идею, но уверен, что правительство Соединенных Штатов – единственное правительство, которое может эту идею эффективно выдвинуть" [1. С. 82].

И действительно, выдвижение Вильсоном идеи самоопределения, произошедшее весьма эффективно, настолько разожгло аппетиты, вызвало, особенно в странах западного развития, такой резонанс, что болгарские политики, например, всерьез надеялись, что даже при проигрыше Болгарией войны всемирное торжество демократического права на самоопределение, провозглашенное американским президентом, позволит ей получить македонские земли для завершения процесса национального объединения.

Политическая практика, востребовавшая на каком-то этапе идеальный лозунг, не была в состоянии его реализовать. Контуры новых государств Центральной и Восточной Европы кроились по живому, и хотя в мирные договоры были включены разделы о защите прав меньшинств в языковом, расовом, вероисповедном отношениях (с обязательным указанием на неприемлемость сепаратизма), на Парижской мирной конференции не было выработано никаких методик по реализации права на самоопределение. Не было соответствующего комитета и в Лиге Наций.

Все это неслучайно, ведь само представление о праве на самоопределение сложилось на основе опыта формирования государств-наций в предшествующие века. Однако нации, чье оформление несколько запаздывало, оказались в ином положении, старые способы достижения национально-государственных целей в начале XX в. уже не действовали. На эту ситуацию в 1912 г. отреагировал Каутский, предлагавший

относиться к лозунгу самоопределения более осмотрительно, подчеркивавший, что требовать государственной самостоятельности для каждой нации значило бы требовать чрезмерного.

На противоположном "вильсоновскому" общественном полюсе аккумулятором идеи самоопределения наций явился лидер российских большевиков В.И. Ленин, в представлении которого мировая война была лишь прологом мировой революции, а право наций на самоопределение – двигателем революционного процесса. Реализации избранной стратегической цели были призваны служить и дополнение в 1915 г. лозунга о праве наций на самоопределение словами "вплоть до отделения", и призыв к рабочим всех стран добиваться поражения своих правительств. Заимствовав идеи II Интернационала, большевики, таким образом, интерпретировали их по-своему. В "Тезисах по национальному и колониальному вопросу", с которыми Ленин выступил в 1920 г. на II Конгрессе Коминтерна, содержался призыв, не вызвавший тогда большого отклика, осуществить к национальной проблематике классовый подход. Следующее обращение Коминтерна к национальным проблемам произошло в 1924 г., на V Конгрессе. Резолюция "Национальные вопросы Средней Европы и Балкан", возвращаясь к ленинской постановке вопроса о праве наций на самоопределение вплоть до отделения, была нацелена на новый передел границ в обозначенных регионах. Ибо в ней выдвигались требования "государственного выделения угнетенных народов из состава Польши, Румынии, Чехословакии, Югославии, Греции" и, в частности, образования "Единой независимой Македонии", "Единой независимой Фракии"; соединения всех украинских земель (в том числе относящихся к Польше, Чехословакии и Румынии) в советскую рабоче-крестьянскую республику; выделения Хорватии, Словении и Македонии из состава Югославии, а Трансильвании и Добруджи из состава Румынии. Позиция Коминтерна и Советского государства по-прежнему строилась на доктрине мировой революции: решающее значение придавалось использованию острых национальных противоречий на Балканах для инициирования именно в этом "взрывоопасном" регионе революции. Национально-территориальные вопросы были для большевиков не более чем инструментом для достижения главной стратегической цели. Л. Троцкий это открыто признавал, утверждая, что лозунг права наций на самоопределение – это чисто политический лозунг.

По мнению Р.П. Гришиной, требование права наций на самоопределение, будучи не только идеологическим постулатом, отражающим определенную стадию в этническом развитии, но и политическим лозунгом, до сих пор активно используется в качестве средства манипулирования сильными слабыми на международной арене. Этому способствует и то, что традиционная идеологема права наций на самоопределение зачастую не доводится до логического завершения, отрывается от вопроса о том, на какой конкретной территории будет осуществляться это право, т.е. оказывается в забвении тот факт, что национальный вопрос является в значительной степени национально-территориальным.

Д-р. ист. наук, проф. *Г.Ф. Матвеев* (МГУ) призвал коллег проводить более четкий водораздел между общественной мыслью и реальной политикой, преломлением общих теоретических положений в конкретной политической практике. Осуществление тех или иных идей требовало не только четко прописанной программы, но и механизма их реализации. Механизм, которым располагала Лига Наций, не способен был обеспечить сохранение целостности многих государств в случае последовательного проведения в жизнь права наций на самоопределение. Важен и другой вопрос – насколько идеи, выдвигаемые национальными элитами, находили поддержку в широких массах. Итоги проведенных под эгидой Лиги Наций плебисцитов о государственной принадлежности ряда спорных территорий свидетельствуют о больших расхождениях между политическими лозунгами и настроениями масс.

Некоторые теоретические аспекты национального вопроса на Балканах затронул в своем докладе д-р ист. наук *Ар.А. Улуян* (Институт всеобщей истории РАН). Широко распространенное представление о национальном вопросе как комплексе

конфликтогенных факторов, по его мнению, является частью стереотипизированного образа балканского геополитического пространства, где этнотерриториальные противоречия постоянно экстраполируются из этнической области в политическую и наоборот. Всегда надо иметь в виду, что национальный вопрос на Балканах – не совокупность исключительно этнических составляющих. Достаточно напомнить об устойчивом клише "балканизация", включающем в себя в уже сложившейся историографической и политологической традиции широкий комплекс этнических и политических факторов: взаимные территориальные претензии соседей; наличие больших групп этнических меньшинств на сопредельных территориях, что используется как фактор, способствующий выдвиганию подобных претензий; враждебность в отношении меньшинств со стороны так называемых титульных наций; этноцентристские идеалы, лежащие в основе государственных идеологий, и историко-мифологизированная система аргументации, к которой прибегают при обосновании идеальных моделей, в свою очередь определяющих ориентации основных политических сил в системе взаимоотношений как на Балканах (так называемый внутрирегиональный этнополитический баланс), так и во внерегиональной среде. Перечисленные выше характеристики являются проявлением сложной (хотя зачастую воспринимаемой лишь на уровне упрощенных стереотипов) системы, содержащей как объективные, так и исторически сложившиеся идеально-субъективные элементы. Среди прочего играет роль проблема автохтонности/пришлости определенных этносов в балканском региональном контексте. Из всех этносов, заселяющих Балканы, только греки и албанцы могут считать себя автохтонными. Базовым геополитическим фактором межнациональных отношений в регионе остается специфика географического расположения отдельных этносов. Горный ландшафт и выходы к морю, компактность проживания и разбросанность этнических территорий – все это в тех или иных конкретно-исторических условиях может возмещать решающее значение.

Одной из сторон национального вопроса на Балканах является, по мнению Ар.А. Улуяна, незавершенность в этом регионе процесса государствообразования (отсутствие централизованной государственности в XIX–XX вв. в немалой мере содействовало конфликтогенности в межэтнических взаимоотношениях). Утверждение этнических государств в пространстве балканского региона выдвигает на первый план такие стороны национального вопроса, как национальный интерес и национальная безопасность. В процессе образования новых государств формулируется определенная иерархия геополитических предпочтений: на первый план выходят задачи объединения в рамках единого целого всего этноса, обеспечения государственного образования оптимальными для его успешного развития географическими условиями (наличие плодородных равнин, пропорциональной территории государства береговой линии, горных массивов как стратегического барьера). Происходит мобилизация общества (по этническому и конфессиональному принципам) на реализацию идей "великого государства", "объединения наций", возвращения "исторических территорий", достижения "исторической компенсации" и т.д. Этноцентристские идеологии, лежавшие в основе государственных образований, изменялись в зависимости от внешних факторов – с появлением новых угроз, по мере поиска и нахождения союзников и т.д.

Наряду с геополитическим аспектом национальный вопрос на Балканах имеет имиджологический аспект – речь идет об идентификации соответствующих этносов в системе взаимоотношений в рамках региона и на более широком международном поле. Нахождение своего места среди соседей влияет целый ряд моментов, в том числе наличие/отсутствие в соседних государствах близких или родственных этнических меньшинств, опыт истории международных отношений в регионе и вне его, причем экстраполяция политики в прошлое нередко служит лишь прикрытием базового тезиса о недопустимости в настоящем сужения собственного геополитического пространства (независимо от того, насколько это соответствует объективному процессу государствообразования в регионе). К мобилизации исторического сознания

политики прибегают, когда необходимо подчеркнуть угрозу со стороны конкретных государств, потенциальную опасность усиления соседей, историческую обоснованность патронирования со стороны внерегиональных сил и т.д.

В понимании балканскими идеологами национального интереса доминирующим было стремление создать замкнутое этнотерриториальное государственное пространство, не допускающее никаких разрывов в виде признания факта существования национальных меньшинств и их формальных территориальных прав. Такой подход, даже в случае существования федерально организованных государственных образований, признавал за меньшинствами только право находиться на данной территории, а автономизация обуславливалась фактом преобладания на ней в данный момент определенного этноса, а отнюдь не признанием за ним "исторического права" в отношении данной территории. Что касается концепций национальной безопасности, то они рассматривали в качестве главной угрозы возможность потери государственной территории в результате объединения усилий национального меньшинства и родственного ему государствообразующего этноса соседней страны.

Реализация выше обрисованных концепций национального интереса и национальной безопасности на протяжении XIX–XX вв. вела к обострению конфликтности балканского пространства, создавая целую систему этнотерриториальных "вопросов". Как это ни парадоксально звучит, но именно решенность "государственного вопроса" в его балканской форме с присущей ей этноцентрической моделью государственно-территориальной организации вела к нерешенности национального вопроса. Сам же процесс государственного строительства в условиях этнической дисперсии, внутри- и внерегиональных зависимостей, оказался незаконченным. На смену практике территориальных приобретений постепенно стала приходиться практика этнотерриториального дробления с перспективой возможного объединения с родственными народами этих территорий государственными образованиями. В этих условиях концепции национального интереса и национальной безопасности зачастую играют роль фактора, сдерживающего процесс такого объединения.

Д-р ист. наук *Е.Ю. Гуськова* (ИНИОН и ИСл) остановилась на особенностях решения национального вопроса в Югославии в первые послевоенные годы. На заключительном этапе войны и к моменту образования ФНРЮ на состояние межнациональных отношений в стране влиял целый ряд факторов. Прежде всего, оставались нерешенными национальные проблемы королевской Югославии. Хорваты и словенцы хорошо помнили, что в межвоенной Югославии так и не смогла осуществиться мечта о федерализации югославянского государства, в условиях, когда политически доминировали сербы, другим народам так и не удалось добиться автономии. Страх перед возможной доминацией сербов и в новой, послевоенной Югославии продолжал жить в душах миллионов граждан многонационального государства. Необходимо также иметь в виду нацистскую политику стравливания югославянских народов в годы Второй мировой войны, межнациональную рознь военных лет, зачастую приобретающую самые кровавые формы. Антифашистская борьба и народно-освободительная война под руководством коммунистов объединила только часть общества. Идеологические противоречия по линии "монархизм – коммунизм" не были национально окрашены, но они раскололи общество на две части. К межнациональным противоречиям добавлялись идеологические, иногда сложно переплетаясь по линиям, например, "хорват-фашист – серб-партизан" или "серб-четник – хорват-партизан" и т.д. Противоречие проходило и по линии "югославизм – сербство/хорватство/словенство" и т.д. Это очень усложняло тот фон, на котором начинала формироваться национальная политика нового государства.

При этом важно заметить, что именно сербское национальное пространство было разбито в наибольшей степени – и в географическом смысле, и в идеологическом. Четники Д. Михайловича, партизаны, колаборационисты, монархисты – таков неполный перечень совершенно противоположных политических ориентаций, не только создававших в общем-то привычный для сербов фон национального "неединства",

но и наложивших глубокий отпечаток на менталитет сербской нации, которая должна была в определенной степени нести на себе комплект вины за четничество и "великосербский гегемонизм" предшествующей Югославии. Коммунисты всегда боролись с идеей "Великой Сербии", а их национальная программа в годы войны исходила из необходимости слома так называемой "великосербской гегемонии". Носители великосербской идеи стали военными противниками партизан и коммунистов. В первые послевоенные годы наследие предшествующего периода особенно явно давало о себе знать. Еще сохранялись приверженцы других партий, даже среди сербской молодежи имели определенное распространение монархические настроения. Доминировала, однако, иная тенденция. Крах политики Д. Михайловича в годы войны повлиял на то, что именно сербские коммунисты должны были в течение пяти десятилетий оставаться главными критиками великосербского национализма.

Получив в годы войны дополнительный негативный импульс, межнациональные противоречия незримо присутствовали в сознании разных народов и в условиях, когда создавалась внешняя видимость полного единения. Так, словенцы тяжело переживали немецкий и хорватско-усташеский геноцид военных лет. Хорваты могли сожалеть о потере собственного государства, радуясь, вместе с тем, что оказались в стане победителей. Наказания за причастность к усташескому движению для многих хорватов не последовало, они продолжали после войны жить бок о бок с сербами. Сербы в Хорватии не могли забыть резни, которую устроили усташа, однако задачи политической консолидации и перспектива послевоенного демократического развития единого югославянского государства для многих из них оказывались важнее.

При этом в 1945 г. не все народы Югославии желали объединения в прежних границах. Достаточно сказать, например, об албанцах Косова. На территории Косова не велось освободительной борьбы, поскольку косовские албанцы не были уверены в том, что, сражаясь бок о бок с другими народами Югославии против фашизма, они завоюют себе право на самоопределение для воссоединения с Албанией. Иные из коммунистов-албанцев в Косове с радостью встречали иностранную оккупацию, надеясь, что она поможет осуществлению права их нации на самоопределение.

Прямым следствием войны явились депортации населения после ее окончания – в соответствии с волей великих держав все, и победители, и побежденные, развозились по "национальным квартирам". Все это стало новым источником национальных противоречий. Так, из Воеводины были выселены немцы и частично венгры, а на их место пришли сербы из других краев. Следует сказать и еще об одном факторе, влиявшем на состояние на межнациональных отношениях, – религиозном. Ведь на территории Югославии религиозная принадлежность определялась преимущественно национальным происхождением.

Как известно, после освобождения страны от фашизма в Югославии стали закладываться основы общественно-политической системы, мало отличающейся от той, что сложилась в СССР. Концепция национальной политики КПЮ, делавшая упор на равноправие народов в рамках целостного государства, была сформулирована еще перед войной, однако опыт военных лет заставил внести в нее значительные коррективы. Хотя Югославия изначально возникла как централизованное государство, решение национальных проблем побудило власти встать на путь федерализации, совершив при этом переход от федерации фактически к конфедерации. Государство было разделено на шесть республик, а Сербия имела в своем составе два автономных края.

С момента образования ФНРЮ национальный вопрос занимал важное место не только во внутренней, но и во внешней политике государства. Он был немаловажным фактором отношений с соседними странами, поскольку представители титульных наций других государств (прежде всего венгры, албанцы, румыны, немцы) как национальные меньшинства проживали в Югославии, и наоборот – в семи граничивших с Югославией странах имелись национальные меньшинства югославянских народов. Это обстоятельство сказывалось и в годы войны. Так, представители немецкого национального меньшинства в 1941 г. определились как граждане Германии, венгер-

ские коммунисты в Воеводине после оккупации режимом Хорти этого края оставляли КПЮ и переходили в лучшем случае в КП Венгрии.

Если первое югославянское государство, образованное в 1918 г., было унитаристско-централистским с монархической формой правления, в котором не решался национальный вопрос, то коммунисты стремились сделать свою национальную программу привлекательной для всех народов федерации, обещая полную гарантию национальных свобод. Противоречия, однако, сохранялись, хотя и затенялись, причем наряду со старыми, довоенными, существовали и новые, возникшие после 1941 г. Довольно сложной уже тогда была, например, ситуация в Косове. Во время войны в этот край перешли тысячи албанцев из самой Албании, которые так и остались в Косове, пользуясь более благоприятной в то время политической обстановкой в Югославии в сравнении с Албанией. Руководство ФНРЮ не прилагало усилий для восстановления прежней этнической структуры Косова (как и некоторых других районов Югославии). Напротив, уже 6 марта 1945 г. было принято постановление "О временном запрещении возвращения колонистов в места их прежнего проживания". На протяжении нескольких десятилетий этот факт в научной литературе не обсуждался. Только в последние годы были опубликованы новые документы, позволившие историкам сделать некоторые предположения относительно мотивов появления такого акта.

М. Джилас писал в воспоминаниях, что правительства Албании и Югославии в конце войны "в принципе стояли на точке зрения, что Албания должна объединиться с Югославией, что разрешило бы и вопрос албанского национального меньшинства в Югославии" [2. С. 96]. По мнению коммунистических лидеров обеих стран, это помогло бы преодолеть традиционную нетерпимость в отношениях двух соседних народов и, что важнее, дало бы возможность присоединить значительное и компактное албанское меньшинство в Югославии к Албании как отдельной республике в составе югославо-албанской федерации. И. Броз Тито намного больше интересовала судьба задуманной им балканской федерации, ядром которой стала бы Югославия, чем область Косово в составе Сербии. Он готов был пожертвовать последней, чтобы сделать свои планы привлекательными для Албании. Албанский лидер Э. Ходжа, в свою очередь, дословно повторил слова Тито в своем письме в ЦК ВКП(б): "Косово принадлежит Албании и должно быть присоединено к Албании. Мы желаем этого ото всей души, но в настоящий момент не можем этого допустить, потому что реакция великосербов еще очень сильна" [3. С. 211]. Сама идея югославо-албанской федерации долго оставалась для Тито актуальной, и он все делал для сближения двух стран. В 1946–1947 гг. была заключена система договоров, фактически установившая единую экономическую политику Албании и Югославии. Подписывается соглашение об отмене виз. Среди современных сербских ученых преобладает мнение о том, что такая политика имела своим следствием ущемление прав сербского населения. Под влиянием существовавшего в послевоенной Югославии синдрома "великосербской опасности" коммунистические лидеры пошли на уменьшение территории Сербии, и в этом проявилась общая стратегия на ослабление сербского фактора в будущей Югославии. Став для Тито своего рода "каналом" по овладению Албанией, Косово в то же время явилось средством разрушения исторического сознания сербского народа. Вообще, сильная критика сербского национализма в СФРЮ и стала благоприятным фоном для развития национализма хорватской и других национальностей.

По мнению Е.Ю. Гуськовой, в развитии югославского федерализма можно выделить несколько этапов. Первый (1945–1950) был связан с теоретической разработкой и последующим строительством централистско-административной системы власти в федеративном государстве. В это время политическая консолидация как условие быстрого послевоенного восстановления страны затмевала, отодвигала на второй план национальный вопрос. Груз накопившихся межнациональных противоречий так и остался грузом, просто до поры до времени забытым. Он дал знать о себе в более поздний период, став разрушительной силой.

Второй период развития федерализма начался на рубеже 1940–1950-х годов, когда югославское общество взяло курс на "самоуправление". Решение задач по переводу экономики на новые рельсы виделось в создании механизма непосредственной демократии, который представлял бы самые широкие возможности для осуществления демократического самоуправления трудящихся посредством соответствующих органов управления на производстве и в других областях общественной жизни. Согласно идеологическим установкам в стране должен был развернуться процесс, известный под названием "трех Д": децентрализации, деюрократизации, демократизации.

С распространением идеи самоуправления с производственной сферы на политическую систему менялся и характер югославского федерализма – место национального подхода все более занимал классовый. Вече национальностей перестало быть равноправной палатой и вошло составной частью в Союзное вече. А для того, чтобы рабочий класс, составлявший меньшинство в обществе, смог стать большинством в Скупшине, вводилась новая палата – Вече производителей. Федерализму, таким образом, пытались придать наднациональное содержание – говорили о федерации самоуправляющихся единиц, не акцентируя, насколько это было возможно, национального момента. Приоритет отдавался решению социально-политических проблем самоуправления, а не национальных вопросов. Должный механизм согласования интересов центра и национальных образований не был выработан, проблемы не решила и новая Конституция 1963 г., содержащая немало противоречивых положений. Следствием неудовлетворенности республик степенью своей экономической и политической самостоятельности становится усиление с середины 1960-х годов сепаратистских и националистических тенденций. На повестку дня встают вопросы повышения статуса республик в федеративном союзе, вносятся поправки в Конституцию, сужавшие компетенции федерации, в том числе и в финансово-экономической сфере. Изменения в федеративных отношениях не смогли, однако, снять причины национальных конфликтов и предотвратить развитие националистических выступлений.

Третий этап развития югославской федерации начался с принятием Конституции 1974 г., согласно которой республики и автономные края наделялись широкими экономическими, политическими, законодательными полномочиями. Отныне какая-либо субординация в отношениях между субъектами национального содружества фактически отсутствовала, функции общегосударственных структур были сведены к самому минимуму. При этом национальный плюрализм в Югославии питался самоуправленческой идеей децентрализации политической и экономической власти. Сняв на первых порах противоречия между центром и субъектами федерации, реформа 1970-х годов не смогла, однако, предотвратить распад СФРЮ.

Д-р ист. наук *В.В. Марьиной* (ИСл) говорила о чешско-словацких отношениях во второй половине 1940-х годов¹.

Д-р ист. наук проф. *А.И. Пушкаш* (ИСл), опираясь на документы МИД Венгрии, сосредоточился на проблеме венгерского национального меньшинства в послевоенной Чехословакии. Проблема эта во второй половине 1940-х годов не только обсуждалась в ходе двусторонних переговоров, ей уделялось значительное внимание на мирной конференции в Париже. Как известно, в своей Кошицкой декларации от 2 апреля 1945 г. чехословацкое правительство заявило, что ЧСР преобразуется в славянское государство. 2 августа 1945 г. президент Э. Бенеш подписал декрет, лишавший венгров, проживавших в ЧСР, чехословацкого гражданства (несколько позже исключение было сделано лишь для венгров, активно участвовавших в освобождении Чехословакии, но и они были ограничены в правах). Стремление правительства Чехословакии решить венгерский вопрос в одностороннем порядке вызывало неодобрение США, что нашло отражение, в частности, в меморандуме, направленном в Прагу 12 июня, еще до подписания упомянутого декрета.

¹ Статья В.В. Марьиной по теме доклада публикуется в данном номере журнала.

Между тем задача превращения Чехословакии в этнически чистое славянское государство требовала решения переговорным путем проблемы переселений. Состоявшиеся 3–6 декабря 1945 г. в Праге переговоры между делегациями ЧСР и Венгрии об обмене населением закончились безрезультатно. Трудность решению этой проблемы придавало то обстоятельство, что венгерское национальное меньшинство в Словакии как минимум шестикратно превосходило по численности словацкое меньшинство в Венгрии. Правительство Венгрии не только соглашалось на добровольный обмен населением, но изъявило готовность принять все венгерское население, однако только вместе с территорией, на которой оно компактно проживало. Кроме того, в число людей, подлежащих обмену, предполагалось включить венгров, уже переселившихся к тому времени, не дожидаясь применения санкций, в свое титульное государство. Наконец, венгерское правительство решительно отказывалось принять тех венгров, которые были прямо причастны к фашистским движениям. Нота с изложением позиции Венгрии была направлена министром иностранных дел Я. Дьендьеши правительствам СССР, США и Великобритании 11 декабря 1945 г.

Естественно, что со стороны Чехословакии ни о каком пересмотре границ речи быть не могло, но 6–10 февраля 1946 г. в Праге состоялись новые переговоры, а 27 февраля было подписано соглашение об обмене населением, который намечено было осуществить до 14 июня. Из Венгрии словаки могли переселиться в ЧСР добровольно, такое же количество словацких венгров подлежало переселению в Венгрию на основании выбора самих чехословацких властей. В отношении принятия других венгров Будапешт продолжал отстаивать прежний принцип: "народ с землей". При этом венгерская пресса независимо от политических ориентаций достаточно пессимистически оценивала перспективу дальнейших переговоров.

Тем временем, не дожидаясь окончательного решения вопроса, чехословацкие власти принимали явно дискриминационные меры в отношении венгерского меньшинства. По данным, которыми оперировало венгерское правительство, 64 тыс. словацких венгров были приговорены к принудительным работам и конфискации имущества с последующим насильственным переселением в Венгрию. В словацком городе Римавска Собота сажали в тюрьму за одно слово, сказанное по-венгерски. Этот факт, как и некоторые другие, получил огласку на Парижской мирной конференции, где венгерский премьер-министр Ференц Надь апеллировал к мнению великих держав, надеясь на их вмешательство. Чехословацкое правительство, в свою очередь, настаивало на выселении за пределы ЧСР 200 тыс. венгров (остальные 400 тыс. предполагалось подвергнуть насильственной "словакизации"); Бенеш обещал дать гражданство ЧСР тем представителям венгерского меньшинства, которые в ходе переписи укажут на свою принадлежность к словацкому этносу).

Для того, чтобы склонить Э. Бенеша и его окружение к компромиссу, с венгерской стороны была задействована "тяжелая артиллерия": в Прагу прибыл политик-демократ с международной репутацией граф М. Каройи (глава первой венгерской республики в 1918–1919 гг.). Кроме того, венгерская дипломатия прилагала отчаянные усилия на международной арене, пытаясь склонить внешнеполитические ведомства других стран к поддержке своей позиции. При этом нередко проводился тезис о том, что славянский "Drang nach Suden" угрожает не только "жизненному пространству" венгров, оказывавшихся все более стиснутыми между западным и южным славянством, но и ведет к нарушению равновесия сил на Европейском континенте. Эта деятельность не имела, однако, большого эффекта: как Советский Союз, так и западные державы предпочли в венгерско-чехословацком конфликте занять позу сторонних наблюдателей, хотя на Западе со стороны официальных лиц периодически звучали высказывания о необходимости согласия этнических венгров на переселение за пределы ЧСР.

Выступление А.И. Пушкиша дополнил конкретными фактами д-р ист. наук Б.И. Желицки (ИСЛ). По его данным, в межвоенный период чехи и словаки состав-

ляли около двух третей населения Чехословакии, а представители других наций в совокупности – 5 млн человек: 3300 тыс. немцев, 600 тыс. венгров, здесь жили также украинцы, русские, поляки, евреи, цыгане и т.д. В Словакии венгры составляли более 12% населения и проживали компактно вдоль южной границы стран, составляя во многих населенных пунктах от 70 до 100% жителей. Словаки в Венгрии, численность которых, по данным переписи 1930 г., едва превышала 100 тыс. человек, проживали гораздо менее компактно. Чехословацкий президент Э. Бенеш не только был увлечен идеей "единой чехословацкой нации" и создания мононационального государства, но разделял мнение о виновности целых наций (в частности, немцев и венгров) за развязывание войны. При том, что недостатки национальной политики чехословацкого правительства в межвоенный период сбрасывались Бенешем со счетов, его программа по переселению немцев за пределы ЧСР получила поддержку союзных держав антифашистской коалиции. Еще в декабре 1943 г. по итогам переговоров в Москве с высшим советским руководством чехословацкий президент сообщал своему лондонскому окружению: "Немцы будут выселены. Разумеется, у себя дома мы должны будем порядок навести сами. Но советское правительство не будет мешать нам в этом".

Аналогичную акцию Бенеш планировал осуществить в отношении венгерского населения. 14 декабря 1943 г. он представил советскому руководству план "О выселении части населения Чехословакии", где было сказано, что на территории послевоенной ЧСР не должно остаться ни одного населенного пункта, где чехи, словаки либо "карпаторусы" не составляли бы двух третей населения. Представителей других национальностей, согласно этому плану, следовало резко ограничить в правах. Государство единой чехословацкой политической нации, каким представлялась Бенешу послевоенная Чехословакия, не предусматривало юридического закрепления статуса национальных меньшинств. 16 декабря 1943 г. на встрече с К. Готвальдом Э. Бенеш заметил: "Вы никогда не сможете убедить меня в том, чтобы я признал словаков нацией. Это моя научная позиция, которую я не собираюсь менять... Я никому не запрещаю называть себя словаком, но не допущу, чтобы говорили о существовании словацкого народа". Правда, опыт военных лет заставил Бенеша позже несколько смягчить свою жесткую позицию.

Что же касается венгерского меньшинства, то изначально вынашивались планы выселения 400 тыс. и словакизации 200 тыс. венгров, лишь позже пропорции решено было изменить. Эти планы, однако, не получили столь же безусловной поддержки союзных держав в отношении немцев. Было дано согласие лишь на обмен венгерского и словацкого населения на переговорной основе между двумя государствами. В конечном счете из Венгрии в Чехословакию было переселено 73 тыс., а из Чехословакии в Венгрию 68 тыс. человек (немногим более 25 тыс. словаков предпочли остаться в Венгрии). Зато, вопреки протестам официального Будапешта, происходила масштабная словакизация венгров в ЧСР. Чехословацкое правительство пошло на компромисс, и вопрос был относительно урегулирован лишь в 1948–1949 гг., когда у власти в обеих странах прочно утвердились коммунисты, а руководство СССР, явно не желавшее раздувания конфликтов между странами, относившимся к советской сфере влияния, приложило дополнительные усилия в целях ослабления напряженности между Прагой и Будапештом. В 1950 г. правительство ЧССР официально признало существование в стране 368 тыс. венгров.

Канд. ист. наук *М.Д. Ерещенко* (ИСл) говорила о разрабатывавшихся в годы Второй мировой войны в рамках Наркомаиндела СССР проектах решения трансильванского вопроса, напомнив об уже неоднократно цитировавшейся формуле привлекавшегося к разработке этой проблемы академика Е.В. Тарле о том, что, находясь во владении Румынии либо Венгрии, Трансильвания неизменно оставалась бы "яблоком раздора" и источником новых конфликтов, а потому целесообразно существование независимого Трансильванского государства. Однако довольно быстро в Москве возобладала точка зрения о передаче Трансильвании Румынии, которая сочла бы себя

достаточно компенсированной за утрату Бессарабии и Северной Буковины и, более того, обязанной СССР за решение трансильванского вопроса в свою пользу. При этом окончательное решение задерживалось, дабы до завершения войны не лишать румын стимула воевать теперь уже против Германии. Среди румынской политической элиты (от коммунистов до крайних антикоммунистов) существовало единство в отношении вопроса о принадлежности Трансильвании, между тем, были нюансы там, где дело касалось решения трансильванской проблемы как внутренней. Более гибкую позицию занимал П. Гроза, допускавший, что автономный статус Северной Трансильвании ослабил бы напряженность в отношениях венгров и румын.

Канд. ист. наук Ю.Ф. Зудинов (ИСл) говорил о "мусульманском факторе" в послевоенной Болгарии. С момента восстановления государственной независимости страны (1878) этот фактор неизменно присутствует в жизни болгарского общества, будучи весьма многогранным, имея этнические, конфессиональные, социально-экономические, политические, внутренние и внешние, количественные и качественные измерения, которые прослеживаются и на бытовом, массовом уровне, и в "высоких" управленческих сферах. Важнейшую роль играет здесь историческое прошлое, которое и по сей день отягощает (открыто или завуалированно) как межгосударственные болгаро-турецкие отношения, так и отношения титульной нации к турецкому (мусульманскому) меньшинству. Как отмечал, в частности, П. Младенов, первый президент "постживковской" Болгарии, историческая память болгарского народа сохранила "черные облака османского рабства, с другой стороны, значительное количество турецких националистов подвержено ностальгии, не воспринимает того факта, что Болгария уже давно не является частью турецкой империи. К сожалению, после 1878 г. многие турецкие и болгарские правители не смогли возвыситься над злобой, завистью и ненавистью" [4. С. 105].

Интенсивность и конкретные формы проявления "мусульманского фактора" подвержены конъюнктурным колебаниям и зачастую зависят от специфических целей, текущих задач, которые решают правящие круги на данном отрезке времени: нужно ли, например, бороться за голоса определенной категории избирателей, укреплять "внешний имидж" государства, подтверждать верность взятым на себя обязательствам и т.д. Все это достаточно хорошо прослеживается на примере национально-культурной политики, проводившейся в Болгарии в первые годы после 9 сентября 1944 г., в период "народной демократии", когда необходимо было добиваться благоприятных условий мирного договора, утверждая при этом власть коммунистов внутри страны. По оценке проф. С. Михайлова (одного из главных партийных идеологов в 1970–1980-е годы, затем подвергнутого опале), национальная политика БКП после того, как она стала правящей партией, характеризовалась импровизацией, шатаниями от одной крайности к другой. Несмотря на отдельные положительные шаги, в целом это была политика грубых ошибок [5. С. 211].

В названный период был официально осужден болгарский национализм, приняты меры по предоставлению национальным меньшинствам равных с титульным этносом гражданских прав, осуществлялись соответствующие шаги в социально-экономической и образовательной сферах. Например, в 1945 г. болгарам-мусульманам было разрешено восстановить мусульманские имена, которых они были ранее насильственно лишены [6. С. 156].

Однако вскоре эта противоречивая, непоследовательная, во многом декларативная, но породившая у болгарских мусульман определенные надежды политика стала меняться в худшую для них сторону. В значительной мере это было связано с начавшейся "холодной войной", с обострением блокового противостояния. В конце 1940-х – начале 50-х годов в Турцию эмигрировали более 150 тыс. болгарских граждан – этнических турок, причем большинство выехало зимой 1950/1951 гг. В этой связи высказывалось мнение, что столь солидный и "разовый" эмиграционный поток был спровоцирован и насильственно организован болгарским руководством, чтобы создать для Турции трудности, как бы "наказать" ее за посылку своего воинского

контингента в Корею в составе войск ООН. Вновь этноконфессиональные проблемы стали жертвой политики.

Канд. ист. наук *Л.Б. Милякова* (ИСл) говорила о переселении украинцев из Польши в УССР в 1944–1946 гг. С момента утверждения государственных границ Польши в 1918–1921 гг. и на протяжении всего межвоенного периода национальные антагонизмы в ней превалировали над тенденциями к сосуществованию. В большой степени это объяснялось ошибками правящих кругов; существовали, однако, и объективные причины конфликта. Надежды на то, что после распада Российской империи и Австро-Венгрии в возрожденной Речи Посполитой возникнет братский союз польского, украинского, литовского и белорусского народов, не оправдались. По мнению докладчицы, условием дальнейшего благоприятного развития каждого из этих народов являлось национальное государство, что делало неизбежным их конфликт с другими народами.

Это в полной мере относилось к украинцам, по некоторым данным, составлявшим 16% населения страны. Среди факторов, влиявших на отношения поляков и украинцев в независимой Польше, лежали польско-украинская борьба за Львов и Восточную Галицию в 1918–1919 гг., раздел Украины, подтвержденный Рижским договором 1921 г. Проиграв в борьбе за образование самостоятельной Украины, украинские партии в Сейме в течение всего межвоенного периода требовали присоединения Волыни или восточной части Малой Польши к УССР либо, в качестве альтернативы, настаивали на предоставлении им территориальной автономии. В период Второй мировой войны, в условиях немецкой оккупации, когда национальные проблемы в Польше приобрели новое измерение, особой степени напряженности достигли именно отношения поляков и украинцев. Немецкая политика по принципу "разделяй и властвуй", проявившаяся, например, при разделе Чехословакии, привела к оживлению среди части украинцев надежд на получение самостоятельности из рук немцев. В результате в украинском национально-освободительном движении укрепились крайне националистические силы, враждебно настроенные против поляков. Эту враждебность, как правило, разделяло украинское население Волыни и Подолии, что послужило тем фоном, на котором в 1943 г. в этом регионе происходило истребление поляков. Подобные акции, по мнению их организаторов, должны были "подготовить" названные украинские земли к включению в будущую независимую Украину. В результате к концу войны отношения между двумя народами настолько обострились, что с особой резкостью встал вопрос о самой возможности их сосуществования в одном государстве.

На заключительном этапе войны польские коммунисты выступили за переселение из Польши национальных меньшинств, так как будущее страны связывалось ими с реализацией концепции мононационального государства. Причем для польских коммунистов решение украинского вопроса являлось центральной среди проблем национальных меньшинств, так как от него в значительной степени зависела реализация данной концепции. Перенос восточной границы с СССР на реку Буг не ликвидировал украинской проблемы в Польше (700 тыс. украинцев осталось в границах Польского государства). Одним из первых шагов правительства левых сил ПКНО было подписание в 1944 г. договора с правительством УССР об обмене населением. Согласно договору, обмен должен был носить добровольный характер, однако в действительности обе стороны стремились очистить свою территорию от "нежелательной" национальности.

Переселение украинцев из Польши осуществлялось в несколько этапов. Согласно первоначальным планам первый этап (сентябрь 1944 г. – апрель 1945 г.) предусматривал переселение около 490 тыс. человек. Украинцы сопротивлялись: к апрелю 1945 г. выехали только 80 тыс. человек. Украинские общественные организации требовали от польских властей соблюдения конституционных прав украинцев: участия их в политической жизни страны, разрешения школ на украинском языке и т.д. Это, однако, вступало в противоречие с планом решения украинской проблемы

в Польше, санкционированным Москвой. В результате ужесточения административных мер к середине 1945 г. число переселенных достигло 200 тыс. человек. Затем акция по переселению была приостановлена, что в известной мере явилось результатом массового уклонения украинцев от эвакуации, вызванного не только их привязанностью к местам проживания, но и распространением негативной информации о положении переселенцев в СССР, а также противодействием со стороны Украинской повстанческой армии (УПА), видевшей в украинском населении Восточной Польши свою важную социальную базу. Защищая население от насильственных перемещений, УПА вступала в прямой конфликт с польской администрацией. Для того, чтобы решить поставленную задачу, властям в конце августа – начале сентября пришлось направить в район компактного проживания украинцев три дивизии пехоты. Случаи прямого насилия военных над украинским гражданским населением в целях переселения его на Восток значительно участились. В результате в течение довольно короткого времени удалось выселить еще около 260 тыс. человек. Всего в 1944–1946 гг. из Польши в СССР были переселены около 500 тыс. человек. Этот процесс пытались увязать с репатриацией поляков из СССР и с планами расселения их на территориях, где прежде жили украинцы.

Массовые переселения не лишили украинское повстанческое движение социальной опоры, ибо в конце 1946 г. в Восточной Польше оставалось около 200 тыс. украинцев. К этому времени советские власти Украины решили прекратить прием переселенцев, ибо огромная переселенческая диаспора, в массе своей довольно враждебно настроенная к существующим порядкам, создавала официальной Москве, а тем более Киеву, немалые проблемы. Оставлять 200 тыс. украинцев близ советской границы польским властям было политически невыгодно. Во-первых, они являлись питательной почвой для УПА, действовавшей по обе стороны границ. Во-вторых, их компактное проживание затрудняло осуществление задуманной колонизации оставшихся меньшинств. Так начался новый этап переселений украинцев – теперь уже в пределах Польши, на северо-западные "воссоединенные земли". Эта операция под кодовым названием "Висла" требует особого рассмотрения.

Польский историк проф. *Р. Беккер* (Торунский университет) сконцентрировал внимание на состоянии национального вопроса в Польше в 1944–1948 гг. По его мнению, на особенности решения национального вопроса в стране в этот период повлияло состояние деморализации, в котором находилось польское общество. В значительной мере она объяснялась тем, что вклад поляков в победу над Германией не был использован в национальных интересах. Известно, что в ходе войны погибли 6 млн поляков. Как немецкие, так и советские власти в 1939–1941 гг. проводили политику уничтожения польской общественной элиты. Впрочем, сохранившиеся с довоенных времен остатки прежних элит утратили в новой Польше свое значение. Зависимость страны от СССР способствовала тому, что большая часть польского общества не ощущала суверенности своего государства. Многие потеряли малую родину в результате значительных миграций. Налицо было нарушение ценностей гражданского общества. В трудные послевоенные годы забота о личной безопасности и хлебе насущном заслоняла для многих поляков какие бы то ни было общественные интересы. Едва ли будет большим преувеличением сказать, что поляки в это время составляли не столько нацию, сколько "этническую массу, объединенную вегетативными потребностями, а также языком и фактом проживания на одной территории". Все эти факторы, но в первую очередь унижение, которое поляки испытывали в ходе войны, определяли политику в отношении немецкого меньшинства, а также отношение польского общества к решению немецкого вопроса.

В первые послевоенные месяцы немцы подвергались всем формам дискриминации как со стороны властей (местных и центра), так и со стороны польского общества. Их заставляли носить опознавательные нарукавные повязки (главным образом со свастикой), посылали на специальные работы, подвергали насилию, в массовом порядке организовывались концентрационные лагеря. Наиболее известен лагерь

в Ламбиновичах; в другом лагере – в Потулицах около Быдгощи погибли от голода и насилия от 4,5 до 12 тыс. немцев (этот вопрос еще требует изучения).

Выселение немецкого населения проходило в несколько этапов. Первый из них – самостоятельные операции военных властей и местной администрации в период после непосредственного окончания боевых действий, еще до принятия Потсдамской конференцией соответствующего решения. Во время второго этапа, от Потсдама до конца 1945 г., были переселены 350–450 тыс. человек. Еще более организованный характер переселения приобрели в 1946–1947 гг. Считается, что в Германию были депортированы около 3,6 млн человек. Около 400 тыс. в ходе депортаций погибли.

Как и немецкий вопрос, украинский также решался с помощью переселений – выселения украинцев в 1944–1946 гг. в СССР. Принцип добровольности быстро сменило применение насилия. Достичь этнической однородности территорий, на которых ранее доминировали украинцы, таким путем не удалось – 200 тыс. украинцев пришлось выселять в 1947 г. в западные и северные районы Польши в ходе операции "Висла". Не удалось добиться и желаемой ассимиляции украинцев – существовавший в польском обществе негативный стереотип украинца изолировал переселенцев от польского населения.

Польско-еврейские отношения отличала конфликтность еще в межвоенный период, причем истоки антисемитизма лежали как в экономической, так и в культурной сферах. В первые послевоенные годы по Польше прокатилась волна погромов (Жешув, Краков и др.). Особенно известен случай погрома в Кельцах в 1946 г., когда были убиты 42 человека. Даже если принять версию о том, что это была провокация органов безопасности, следует признать, что призывы к погрому нашли отклик в толпе. Послевоенный антисемитизм имел не столько экономические, сколько социально-психологические истоки. В условиях, когда деморализованное за годы войны общество легко поддавалось соблазну объяснять переживаемые страной трудности поисками врагов, роль внутреннего врага чаще всего персонафицировали именно евреи.

Курс на создание моноэтничного государства находил поддержку значительной части масс, помнивших межвоенную Польшу с ее острыми этническими противоречиями, вдобавок переживших конфликтный опыт мировой войны и в результате видевших в представителях национальных меньшинств чужаков. Из восприимчивых к экстремистским призывам люмпенизированных слоев общества зачастую рекрутировались милиция и органы безопасности, выступавшие инструментом осуществления проводимой политики. Именно польский национализм нередко оказывался той платформой, на которой могло произойти единение верхушки ППР и общественных низов. Национализм и ксенофобия облегчили включение польского общества в тоталитарную систему, хотя, конечно, о полной лояльности, преданности поляков новой системе речи быть не могло. По мнению Беккера, в польском обществе с развитым католическим сознанием лишь узкий социальный слой стоял на позициях националистического фундаментализма, и в силу этого новая власть не смогла успешно контролировать все сферы общественной жизни.

Подводя итоги Круглого стола, *В.В. Марьина* отметила, что в ходе обсуждения были подняты и проанализированы на основе большого архивного материала вопросы, до сих пор недостаточно изученные историками. Однако работа на этом пути по существу только начинается, перед исследователями, обращающимися к проблемам межнациональных отношений в странах Восточной Европы в период 1944–1948 гг., открывается широкое поле деятельности.

При этом решение конкретных страноведческих задач ни в коей мере не исключает, но, напротив, предполагает выход исследований на уровень принципиальных обобщений. Ведь многообразный и в целом очень болезненный и конфликтный опыт межэтнических взаимодействий в регионе в 1944–1948 гг. дает богатый материал для размышлений по ряду проблем, имеющих теоретическое и общеметодологическое значение. Среди них: соотношение идеологии и реальной политики в решении нацио-

нального вопроса; влияние общественного мнения на выбор политической линии и ее реализацию; степень эффективности международно-правовых механизмов контроля за соблюдением прав национальных меньшинств и др. Главный урок, который может быть извлечен из уже имеющегося знания о рассматриваемом историческом периоде, пожалуй, заключается в оценке как бесплодных и иллюзорных тех скороспелых попыток разрешения межэтнических противоречий, которые не способны подняться над идеей национальной исключительности и противостоять насилию. Только терпеливые поиски путей формирования многонационального сообщества на основе взаимных компромиссов и общих демократических принципов дают возможность коренным образом разрешить проблему.

© 2001 г. Материалы к печати подготовил *А.С. СТЫКАЛИН*

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Уткин А.И.* Дипломатия Вудро Вильсона. М., 1989.
2. *Джилас М.* Лицо тоталитаризма. М., 1992.
3. Восточная Европа в документах российских архивов. 1944–1953. М., 1998. Т. II. 1949–1953.
4. *Младенов П.* Животът. Плюсове и минуси. Русе, 1992.
5. *Михайлов С.* Възрожденски процес в България. София, 1992.
6. *Маркова Л.В.* Болгары-мусульмане (помаки) // Этнические меньшинства в современной Европе. М., 1997.



© 2001 г. З.И. КАРЦЕВА

"НОВОЕ ПРОЧТЕНИЕ" ИСТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Новые условия общественно-политической и культурной жизни в Болгарии после ноября 1989 г., радикальнейшие перемены в экономике страны, пребывающей в глубоком затяжном кризисе, изменения в сознании людей, отчаявшихся во всем и уже не верящих в улучшение столь нелегкой сейчас жизни, привели к изменению в *самих критериях оценки* прошлого – истории, культуры, литературы.

Отсюда – задача, встающая, в частности, перед историками болгарской литературы: с учетом новых реалий осмыслить не только ее современный (после 1944 г.) и межвоенный и военный (1918–1944) периоды, но и под иным углом зрения взглянуть на всю историю болгарской литературы. Это тем более актуально, что в последние годы общий литературный массив в Болгарии начал увеличиваться за счет включения в культурный оборот эмигрантской и диссидентской литературы.

Впрочем, следует заметить, что писателей-диссидентов в Болгарии немного. При этом они никогда не были "избалованы" шумными процессами (как И. Бродский) или дипломатическими скандалами (как Ч. Милош). Но за свои книги многие писатели, критики и ученые после 1944 г. тоже арестовывались и попадали в лагеря (Д. Талев); их исключали из Союза писателей, обрекая на нищенское существование изгоев (М. Арнаудов, Д. Талев, В. Василев); публично унижали, заставляя принародно каяться в "грехах", выступать с "самокритикой" и "саморазоблачением", переделывать, дописывать свои произведения (известная история с романом Д. Димова "Табак"), или просто запрещали их на долгие годы (как, например, роман Б. Димитровой "Лицо").

Время было беспощадно – и к "своим" и к "чужим". Машина тоталитаризма работала непрерывно и бескомпромиссно, выталкивая, выдавливая из общего круга все непривычное, отторгая его. Говорят, Т. Живков так отзывался о творчестве прозаика Г. Маркова, впоследствии эмигрировавшего в Англию и убитого там службами болгарской и (по слухам) советской контрразведки: "Талантлив, но... не наш". Это определение "но... не наш" стало своего рода формулой отчуждения, остракизма в болгарском обществе тех лет.

Духовному, творческому насилию подвергался блестящий поэт, А. Далчев, все эти долгие десятилетия негласно стоявший на самом вершине поэтической иерархической лестницы в Болгарии и повлиявший на творчество не одного поколения болгарских

Карцева Зоя Ивановна – канд. филол. наук, доцент кафедры славянской филологии МГУ им. М.В. Ломоносова.

поэтов. Тридцать лет "молчал и курил" великолепный поэт К. Павлов, возвращение которого в литературу стало, пожалуй, одним из самых радостных событий последних лет. Приходилось молчать и яркому представителю "тихой" лирики поэту И. Радоеву, и отнюдь не тихому непримиримому бунтарю Р. Ралину.

Интересны убийственно саркастичные, но – увы! – глубоко верные по сути наблюдения критика Э. Мутафова по поводу действовавшего в тоталитарные годы негласного закона, нормы, матрицы вхождения в литературу прозаика: на первом этапе автор "стеснительно" заявлял о себе отдельным рассказом или миниатюрой; затем он получал право на книгу рассказов, потом – на повесть, сборник повестей и лишь потом, уже став "секретарем – директором – начальником – советником – редактором", лауреатом каких-нибудь премий, писатель получал "добро" на решительный штурм – написание "широкого эпического полотна", романа. Это восхождение, а точнее – карабканье вверх по жанровой лестнице шло под неусыпным административным и партийным присмотром. Та же схема – в еще более оголенном, почти карикатурном виде – действовала и в критике, правда, на ином жанровом материале: рецензия, проблемная рецензия, обзорная статья, проблемная статья, монография.

Не выдержав трагического противоборства со своим временем, ушли из жизни П. Пенев, В. Андреев. Другие смирились, пошли в добровольное услужение властям, утешая себя тем, что таланту позволено все, талант "пластичен" по своей природе – авось, удастся "перехитрить" систему.

"Перехитрить" – не удалось никому. Уехать из страны – единицам (Г. Марков, С. Груев, Ц. Марангозов, Д. Бочев, Д. Инкёв, Ц. Тодоров, Ю. Кристева). Уйти во "внутреннюю эмиграцию" – очень многим честным, порядочным авторам. И одним из первых – хронологически – примеров такого своеобразного духовного протеста, несогласия с современностью стал известный "уход в историю" в самом начале 1950-х годов талантливых болгарских прозаиков Д. Димова, Д. Талева и Э. Станева, создавших прекрасные исторические романы, ставшие гордостью болгарской литературной истории.

И вот сейчас "отреченная" литература – "тамошняя" (Г. Жечев), заграничная (издававшаяся "там") и "здешняя" (запрещенная, не издававшаяся совсем или печатавшаяся в усеченном, "отредактированном" цензурой варианте) "возвращается домой". Переизданы некоторые книги прошлых лет – романы "На повороте" Д. Талева, "Табак" Д. Димова, "Лицо" Б. Димитровой. Печатаются и некогда убиравшиеся "в стол" произведения: стихи К. Павлова, роман Д. Методиева "Реквием поколению", воспоминания "Без права выбора" Д. Василева, роман-эссе Г. Марковского "Хрестоматия для двоих", романы почти никому не известной ранее писательницы Я. Язовой. Впервые на болгарском языке опубликованы пришедшие "из небытия" произведения писателей-эмигрантов Х. Огнянова, С. Попова, А. Игнатова, П. Увалиева, Ц. Марангозова, Ц. Тодорова, Ю. Кристевой, Л. Канова, Д. Бочева.

Но в критике царит глубокое, настороженное молчание. Эта, по сути, новая для Болгарии литература пока еще не встретила должного внимания. Момент принятия эмигрантской литературы явно затянулся. И тем не менее всю эту литературу придется осмыслить, включив в общую картину литературной истории, которая может и измениться: ведь, вливаясь в национальную литературу, "отреченная" проза и поэзия может изменить в какой-то мере и иерархию внутри нее, может нарушить уже сложившуюся шкалу художественных ценностей. Процесс национальной рецепции пока еще инородной для современной Болгарии литературы только-только начинается.

"Переоценка", "новое прочтение", "новое восприятие" литературы прошлого – эти термины в большом ходу сейчас в литературных кругах Болгарии. Но понимают их многие по-своему и порой весьма своеобразно. Очевидно, что изменения всей ценностной системы и необходимы, и оправданы по самым разным причинам. На поверх-

ности – прежде всего политический аспект проблемы: нужно изучить и оценить все то, что было отброшено, исключено из литературного оборота тоталитарной системой.

Но появились и другие причины, чисто научные: пришло время по-новому взглянуть на целый ряд проблем методологического характера, к числу которых, бесспорно, относится периодизация истории литературы. Следует, в частности, обратиться к уточнению границ литературных периодов – естественных, подлинных, более отвечающих этапам не общественно-политических, а собственно литературных процессов. Очень интересны в этом плане работы одного из самых ярких болгарских ученых-литературоведов – С. Игова, по-новому осмысливающего и сами эти макро- и микропериоды истории национальной литературы, в соответствии с основными тенденциями, основными концепциями исторического развития болгарского общества. С. Игов выделяет три таких концепции: "теоцентрическую", "этноцентрическую" и "антропоцентрическую", по месту тех или иных центральных ориентиров в мировоззрении и сознании болгарина (Бог, Отечество, Человек). Исследователь предполагает, что утилитарные, во многом религиозно-обрядные функции древнеболгарской литературы (в первом случае), национально-патриотические задачи литературы Национального Возрождения XVIII–XIX вв. (во втором) и наконец неподдельный интерес к Личности, Человеку, Индивидууму на рубеже XIX–XX вв. (в третьем) в конечном счете определяли типологические особенности литературы, а следовательно – и границы литературных периодов [1].

Еще оригинальнее попытка С. Игова рассматривать историю болгарской литературы через призму "дневного" и "ночного" освещения, которую он предпринимает в статье "Поэт ночи", связывая периодизацию ее развития в XIX–XX вв. с символикой света [2]. Анализ конкретных произведений на уровне световой образности, в бинарной оппозиции "день"–"ночь" дает исследователю интереснейший материал для выводов о вполне логичной и объяснимой смене "дневных" и "ночных" периодов развития болгарской литературы: "дневной" (или скорее даже "утренней") период литературы Национального Возрождения, начавшийся с ощущения радостного подъема, предощущения грядущих перемен, бодрых возрожденческих песен, после известного переходного периода сменяется временем "ночи" – этого символа хаоса, беспросветной тьмы, предчувствия "мировой ночи" – в поэзии болгарских символистов, и – новый виток спирали после Первой мировой войны, когда болгарская литература вступила в свой новый "дневной" период, ярче всего воплотившийся в поэзии Х. Смирненского (сборник "Да будет день!"). Разумеется, можно спорить с автором этих концепций в частности. Но он прав в своих поисках новых возможностей анализа всей литературной истории и отдельных литературных периодов в их динамике и полном объеме типологических связей.

Итак, "переоценка" всей истории болгарской литературы, очевидно, действительно необходима. Но что это значит? "Новое прочтение" – какое оно? Более внимательное? Более профессиональное? С каких-то новых позиций? Но с каких? Болгарский критик С. Хаджикосев в своей статье 1992 г. "Испытание, предстоящее болгарской литературной науке" [3] не без оснований говорил об определенной опасности такого "нового прочтения", которое может привести к популизму, заигрыванию с широкими читательскими массами, не слишком сведущими в вопросах литературы, к спекуляции на их эмоциях и теперешних анти тоталитарных настроениях, и как следствие – к фальсификации литературного процесса, к манипуляциям уже не с отдельными произведениями, а с историей и теорией литературы.

Что и произошло: в последние несколько лет мы стали свидетелями "переоценки" литературы, в основе которой лежит нигилистическое отношение к революционной линии в болгарской литературе и особенно ко всему, что было написано в период с 1944 до 1989 г.

Болгарский критик А. Йорданов еще в конце 1980-х писал о том, что литературная

история Болгарии полна переоценок, полемик, постыдных отрицаний и еще более постыдных реабилитаций. Полемический дух – сущностная черта национального литературного развития, замечает критик, а "зуд переоценки", замешанный на нетерпимости к чужому мнению, амбициях, комплексах и взаимном недоверии, – основа литературной политики. "Наша литературная жизнь буквально соткана из непрекращающихся недооценок ценного и последующих, часто посмертных, реабилитаций" [4. С. 11]. Такова литературная судьба Пенчо Славейкова, Й. Йовкова, С. Минкова, А. Далчева, В. Василева, Й. Радичкова, И. Петрова, Б. Димитровой, К. Павлова и многих других. В "свалочных кострах" литературной науки и критики, действительно, сгорают многие национальные ценности.

В современной критике Болгарии преобладает оппозиционность ко всему прошлому. Разочарованные молодые авторы убеждают своих читателей в том, что все мечты – химеры, Богам нет места в нашей жизни, а всепобеждающая апокалиптическая ирония – самое превосходное оружие для уничтожения добродетели – такой старомодной, никому сейчас не нужной [5]. Преобладает беспощадно злой, подозрительно-тенденциозный взгляд на старую добрую литературу, воспевавшую святость болгарского Средневековья и наивную, восторженную радость Возрождения, патриотический подъем Апрельского восстания 1876 г. и благодарное ликование долгожданного Освобождения, восторг победы трудового народа России в Октябре 1917 г. (каким он виделся в те годы) и мужества героев антифашистского Сопротивления 1940-х. При этом многие из теперешних сторонников "нового прочтения" болгарской литературы и болгарской истории неоправданно представляют свои усилия как борьбу прогресса с регрессом.

Сейчас часто приводятся слова С. Стамболова, видного государственного деятеля после Освобождения 1878 г., утверждавшего, что ни один народ не следует освобождать: он должен погибнуть или освободить себя сам. Но цитирующие явно забыли или не хотят помнить о гайдуцком движении, об 11 (!) кровопролитных антитурецких восстаниях болгар. Не хотят они вспоминать и об антифашистском, партизанском движении в Болгарии, об успехах (несомненных, реальных, *видимых* до сих пор) эпохи строительства социализма.

Критикующие это время и отражавшую его литературу стремятся убедить себя в том, что во времена тоталитаризма (1944–1989) в Болгарии вообще не было ни писателей, ни литературы. И это легко объяснимо: литераторы, считающие себя незаслуженно обделенными тогда, сейчас очень хотят, чтобы "на голой лесной вырубке, которую они столь усердно расчищают, срубая самые крупные деревья, торчали только их бороны и чубы" [6. С. 201]. Но они ошибаются – и в этот 45-летний период было по крайней мере несколько десятков книг, рожденных, как замечает Н. Хайтов, "вопреки идеологемам". Они – как ели, что растут на голых камнях скал, "ни почвы под ними, ни влаги над ними, но вот выросли и стоят – вопреки всем ветрам".

Однако, отрицая порочную систему норм и канонов, присущих тому времени и теории социалистического реализма, нельзя отрицать *реальные художественные достижения*. Ведь соцреализм совсем не был "олицетворением" всей болгарской литературы. Поэзия, например, Х. Смирненского и Н. Фурнаджиева, Н. Вапцарова и А. Далчева, П. Пенева и В. Башева, А. Германова и Л. Левчева, И. Динкова и Н. Кынчева, проза Д. Димова и Д. Талева, Э. Станева и Й. Радичкова, Г. Стоева и П. Вежинова, И. Давидкова и М. Ягодова, В. Паскова с их бесспорными новаторскими элементами никак не укладываются в прокрустово ложе соцреализма. И высочайший уровень книг этих самобытных художников отрицает тенденциозно гиперболизированную концепцию современных приверженцев "нового прочтения" литературы – объявлять негодным все, написанное в духе методологической нормативности или в рамках "коммунистического", "красного" периода.

И тем не менее – *критический* пафос в сегодняшней болгарской литературе явно

преобладает. В основном – это литература, оппозиционно настроенная ко всем идеологиям и всем идеалам, подвергаемым ныне развенчанию. Тема революционной борьбы (включая и тему борьбы за освобождение от турецкого ига) – табу, проявление дурного вкуса. Да и само османское иго, по мнению ряда болгарских историков, – вовсе не рабство, а "турецкое присутствие", "плодотворное совместное сожительство ислама и христианства" в "контактной зоне двух цивилизаций". Следовательно, не было никакого сопротивления туркам, не было гайдуцкого движения и революционной борьбы за национальное освобождение, не было ничего "революционного" и позже – ни романтической, страстной поэзии певца революции Х. Смирненского, ни антифашистских песен Н. Вапцарова. И – как следствие подобных взглядов на отечественную историю и литературу – в новых программах и учебниках исчезают самые яркие патриотические произведения И. Вазова ("Под игом", "Эпопея забытых", "Отверженные"), З. Стоянова ("Записки о болгарских восстаниях"), Д. Талева ("Железный светильник"), наиболее патриотические рассказы Й. Йовкова, а поэзию Х. Ботева предлагается изучать "по выбору". Упоенно отрицая всю революционно-демократическую линию в болгарской поэзии и прозе, новая литературная критика, в сущности, возрождает столь ненавистную ей старую классово-партийную эстетику, социологический, догматический подход к литературному процессу.

Тотальное "переосмысление" прошлого, его "новое прочтение" в последние годы стало перманентной идеологической практикой, и при нынешней политизации болгарского общества вряд ли можно в скором времени рассчитывать на взвешенное осмысление прошлого Болгарии и ее литературы. Исследователям, занимающимся проблемами болгарской литературной истории, целесообразно отказаться от идеологических пристрастий и объективно оценить литературную историю вне каких-либо номенклатурных схем, по возможности используя арсенал не признававшихся в прошлом методов анализа (структуралистских, психоаналитических, стилистически-формалистских, семиотических, феноменологических) [7] во всем ее объеме, включая, разумеется, и "отреченную" литературу. При этом, очевидно, следует исходить отнюдь не только из сиюминутных, зачастую субъективных оценок тех или иных периодов литературной истории Болгарии, а непременно анализировать их в развитии, "с учетом перспективы". Предстоит очень внимательно, терпеливо, взвешенно и главное – *непредвзято* осмыслить также историю болгарской литературы 1920–1930-х и 1940–1980-х годов. Здесь непременно придется вернуться к проблеме этого "знакомого незнакомца" – социалистического реализма, к проблеме так называемого "положительного" героя, к роли догматической критики в процессе развития литературы XX в. и ряду других.

Наконец, следует реально оценивать и современную ситуацию в болгарской литературе после 1989 г., когда в обществе, сияющем стяхнуть с себя старые путы, отделаться от надоевших "старых друзей", "старших братьев" и набивших оскомину догм и идей, на смену догматической нормативности социалистического реализма пришли анархия нигилизма, откровенная "чернуха", трагическая безысходность "городского концептуализма", эстетский нарциссизм элитарной постмодернистской поэзии и прозы.

Пришло время оценить и самые новые произведения "мастеров" (роман С. Цанева "Букашки и боги", новые сборники рассказов и новелл Й. Радичкова – "Манок", "Акустический горшок", "Автострада", сатирические миниатюры С. Стратиева "Мотивы для кларнета", эссе Б. Димитровой, новые романы Б. Райнова, А. Дончева, Г. Данаилова, С.Х. Караславова) и литературной "молодежи" ("Естественный роман" Г. Господинова: "Листы из ада" Б. Биолчева, романы В. Даверова, новые сборники П. Ранчева, Д. Шарланова, В. Караманчева, Б. Минкова), новые поэтические сборники К. Павлова, Б. Димитровой, Л. Левчева, Х. Фотева, В. Петрова, Б. Априлова, З. Златанова, А. Илкова, И. Теофилова – книги, вселяющие надежду на новое возрождение болгарской литературы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Игов С.* Три основополагащи концепции в българската литература // Литературен форум. 1992. Бр. 16.
2. *Игов С.* Поет на нощта // Литературен форум. 1992. Бр. 16.
3. *Хаджикосев С.* Изпитанията пред българската литературна наука днес // Език и литература, 1992. № 5.
4. *Йорданов А.* Преди гласността // Пламък. 1990. № 8.
5. *Добрев Ч.* Погребаните богове // Български писател. 1997. 13 V.
6. *Хайтов Н.* Време за разхвърляне на камъни. София, 1994.
7. *Бумбалов Л.* За преоценката // Език и литература. 1992. № 5.



С.И. МИХАЛЬЧЕНКО. Юридический факультет Варшавского университета, 1869–1917 гг. Краткий исторический очерк. Брянск, 2000. 155 С. (Труды Центра славяноведения)

Е. ЛЯЦКИЙ. Материалы к биографии / Подготовка текстов и публикация С.И. Михальченко. Брянск, 2000. 182 С. (Труды Центра славяноведения).

Во втором номере журнала "Славяноведение" за 2001 г. уже отмечался выход в свет первого сборника нового славистического центра, созданного усилиями профессора С.И. Михальченко при Брянском государственном педагогическом университете. За короткое время появилось еще несколько книг, выпущенных центром в рамках серии "Труды Центра славяноведения", среди которых рецензируемый С.И. Михальченко краткий очерк дореволюционной истории юридического факультета Варшавского университета и подготовленный им же сборник материалов о жизни и деятельности известного русского и белорусского фольклориста, этнографа, литературоведа, писателя и издателя Евгения Александровича Ляцкого.

Очерк истории юридического факультета Варшавского университета представляет собой, по сути, весьма полезный справочник. В его семи небольших вводных разделах (С. 3–37) даны краткие сведения об особенностях внутреннего устройства Варшавского университета в 1869–1917 гг., специфике учебного процесса на юридическом факультете, деятельности работавшего при университете в начале XX в. Общества истории, филологии и права, составе студентов факультета и их участия в студенческих волнениях.

Основную часть книги составляют раздел "Кафедры юридического факультета Варшавского университета" (С. 38–67), а также справочные и документальные приложения.

Упомянутый раздел содержит характеристики научной и педагогической деятельности в университете профессоров всех кафедр факультета, среди которых – известные историки славянского права Ф.Ф. Зигель, Ф.И. Леонтович, Ф.В. Тарановский, специалист по государственному праву и отец великого русского поэта А.А. Блока А.Л. Блок, его ученик Е.В. Спекторский, профессор кафедры истории русского права, крупный российский археолог Д.Я. Самоквасов. Характеристики многих профессоров иллюстрированы портретами.

В приложениях, занимающих более половины объема книги (С. 68–154), в алфавитном порядке приведены краткие (от нескольких строк до одной страницы текста) биографические справки о преподавателях факультета и документы: "Устав Императорского Варшавского университета", "Обозрение преподавания предметов в Варшавском университете в 1913–1914 акад. году: Юридический факультет", "Устав Общества истории, филологии и права при Императорском Варшавском университете", "Программа истории славянского права", составленная Ф.Ф. Зигелем. Каждая биографическая справка сопровождается указанием архивных источников и литературы, по которым она составлена; при публикациях документов подобных ссылок, к сожалению нет, и приходится довольствоваться только общим списком архивных источников, использованных при подготовке работы (он дан на С. 5). Особенно это досадно при

работе с таким ценным для истории преподавания славистических дисциплин источником, как "Программа истории славянского права", которая, несомненно, представляет значительный интерес как с точки зрения постановки преподавания славяноведения в университетах дореволюционной России, так и для изучения научного и преподавательского мастерства Ф.Ф. Зигеля, о вкладе которого в изучение славистики известно еще очень мало.

Важные источники вошли в сборник материалов, посвященных Е.А. Ляцкому. С.И. Михальченко определил цель этого издания как подготовку "почвы для создания научной биографии Ляцкого" (С. 11), но включенные в него источники имеют, несомненно, значительно более широкое значение. Здесь мы находим один из вариантов автобиографии ученого, отрывок из его воспоминаний о детских и юношеских годах, неопубликованные статьи о Белоруссии, переписку с русскими и белорусскими писателями, белорусскими политическими деятелями, учеными, общественными и государственными организациями. При подготовке сборника были использованы документы из фондов Е.А. Ляцкого, хранящихся в Литературном архиве Музея национальной культуры Чехии (LA PNP, Прага) и Рукописном отделе Института русской литературы РАН (РО ИРЛИ, Санкт-Петербург), а также письма Е.А. Ляцкого из фонда М.В. Довнар-Запольского в Центральном государственном историческом архиве Украины (ЦГИА Украины, Киев).

Исследователям творчества Е.А. Ляцкого будут чрезвычайно полезны некоторые сведения о его деятельности в России (Ляцкий покинул родину в 1918 г.), содержащиеся в автобиографии ученого и в его переписке за 1889–1917 гг. с крупнейшим белорусским историком и этнографом М.В. Довнар-Запольским. Поскольку автор 20 из 23 публикуемых писем – М.В. Довнар-Запольский, они, как справедливо отмечает составитель, представляют значительную ценность также для изучения научного творчества последнего.

Подавляющее большинство материалов, включенных в сборник, освещают жизнь и деятельность Е.А. Ляцкого в эмиграции. Это – наиболее интересная и многоплановая часть публикации. К ней относятся и пронизанный чувствами любви к родной Белоруссии и ее народу отрывок "Беларусь", и краткая статья о развитии науки в БССР, и подавляющее большинство писем.

Значительный интерес не только для исследования биографии Е.А. Ляцкого, но

и для истории Белоруссии в целом, и для изучения судеб руководителей белорусской эмиграции представляют письма к нему эмигрировавших в Литву руководителей созданной в 1918 г. на территориях, оккупированных немецкими войсками, Белорусской народной республики А.И. Цвикевича, П.А. Кричевского, В.У. Ластовского. Особенно интересны три письма А.И. Цвикевича (январь–февраль 1922 г.), посвященные предполагавшемуся участию делегации правительства БНР в изгнании в Генуэзской конференции. Сообщая Е.А. Ляцкому о включении его в состав делегации (в нее должны были войти также сам А.И. Цвикевич и В.У. Ластовский), А.И. Цвикевич откровенно излагает политико-стратегические планы руководителей БНР по созданию из Белоруссии некоего "буфера" между Россией и Польшей и определяет тактику игры на противоречиях между Польшей и Советской Россией, которой следует придерживаться в Генуе. Письма В.У. Ластовского посвящены в основном научно-литературным вопросам (он занимался историей Белоруссии, исследованием древней письменности), а в письме от 11 февраля 1927 г. он сообщает о своем предстоящем отъезде из Литвы. Последнее обстоятельство позволяет датировать более точно, чем это сделано в примечаниях С.И. Михальченко (о них еще будет сказано ниже), время возвращения В.У. Ластовского в Белоруссию, где он был впоследствии избран академиком АН БССР (несколько ранее вернулся в Белоруссию также А.И. Цвикевич, занявший пост ученого секретаря Института белорусской культуры, на базе которого была создана в 1929 г. Белорусская АН).

Основную линию писем В.У. Ластовского продолжают письма к Е.А. Ляцкому других представителей эмигрантской науки. В сборнике напечатаны письма А.А. Кизеветтера и А.В. Соловьева с высокой оценкой исследований Е.А. Ляцкого о "Слове о полку Игореве", при чтении одного из которых, по словам Кизеветтера, он "испытывал радостное возбуждение.., какое испытываешь всегда, когда встречаешь в научном труде новое неожиданное освещение такого явления, которое долго казалось окруженным загадочной таинственностью" (С. 160). О своей жизни в Софии в начале 1930-х рассказывает в письме от 1 сентября 1932 г. В.А. Мякотин. Письма философа Н.О. Лосского, историков Е.Ф. Шмурло, Р.Ю. Випера, А.В. Флоровского, литературоведа В.Ф. Булгакова, родственника известного писателя, автора "Воспоминаний дипломата" К.Д. Набокова посвящены делам, связанным

с руководством Е.А. Ляцким русскими эмигрантскими издательствами в Стокгольме (1920–1921) и Праге (1923–1926), и его роли в научной жизни Чехословакии.

Значительное число публикуемых в сборнике писем принадлежат писателям русского зарубежья – З.Н. Гиппиус и Д.С. Мережковскому, М.А. Алданову, В.Ф. Ходасевичу, А.И. Куприну, И.С. Шмелеву, Б.К. Зайцеву, Н.А. Теффи (ее письма ввиду их интимного характера приведены в выдержках). Эти письма также посвящены в основном издательским делам; ряд их связан с деятельностью Е.А. Ляцкого в качестве председателя Комитета по улучшению быта русских писателей в Чехословакии, занимавшегося оказанием материальной помощи эмигрантам – деятелям русской культуры. Вместе с тем письма писателей-эмигрантов содержат некоторые новые подробности их биографий, характеризуют общественно-политические позиции, личные отношения авторов с Е.А. Ляцким.

Е.А. Ляцкий поддерживал связи и с оставшимися в России деятелями культуры. Об этом свидетельствуют два напечатанных в сборнике письма крупного белорусского писателя и государственного деятеля Тишки Гартного (Д.Ф. Жилуновича), желавшего опубликовать в издательстве Е.А. Ляцкого "Пламя" сборник своих статей, а также письмо Е.А. Ляцкого к известному минскому языковеду, одному из руководителей Белорусской АН С.М. Некрашевичу с благодарностью за присланный ему словарь.

Е.А. Ляцкого отличало от многих других эмигрантов то, что он охотно шел на контакты с государственными учреждениями и организациями Белорусской ССР. В сборнике публикуются официальное приглашение Е.А. Ляцкому от руководства Института белорусской культуры с просьбой приехать на конференцию по вопросам белорусского правописания и черновик ответа ученого. В письме Е.А. Ляцкого выражены благодарность за приглашение, сожаление, что дела мешают ему принять участие в конференции, просьба передать привет ее участникам. "Следя с величайшим вниманием за культурными достижениями моего родного края, я радуюсь его успехам и желаю самых благоприятных условий для их дальнейшего развития", – писал Е.А. Ляцкий (С. 41). В сборнике опубликованы также документы, свидетельствующие о связях Е.А. Ляцкого с белорусским писательским объединением "Польмя" и Белорусским государственным издательством (среди документов Е.А. Ляцкого сохранилось и публикуется неподписанное обращение к издательству

с просьбой о высылке научных и учебных книг для библиотеки Славянского семинара Карлова университета).

Материалы, вошедшие в сборник, публикуются только на языках оригинала: большая часть – на русском, меньшая – на белорусском. Вполне оправданное с точки зрения современной эдиционной практики, такое решение неудобно российским исследователям ввиду очень слабой распространенности среди них знания белорусского языка. Из недостатков нужно также отметить лежащую на книге печать некоторой торопливости подготовки, отразившейся как в распределении документов по разделам, так и, в особенности, в комментариях. Последних много, но они часто слишком лаконичны. Особенно это заметно при сообщении в подстрочных примечаниях биографических сведений об упоминаемых лицах. Даже о таких забытых сейчас виднейших деятелях белорусской эмиграции как руководители правительства БНР А.И. Цвикевич и В.У. Ластовский сказано только, что это – белорусские государственные, общественные и научные деятели, но ничего не говорится ни о их работе после возвращения из эмиграции (о том, что А.И. Цвикевич вернулся в БССР, можно судить только на основании его подписи под одним из документов), ни о их дальнейшей судьбе. Между тем известно, что почти все вернувшиеся на родину в 1920-е годы видные деятели эмиграции были расстреляны или оказались в сталинских лагерях и ссылках. Та же судьба постигла упомянутых в документах и комментариях писателей и ученых Тишку Гартного, В.И. Пичету, В.М. Игнатовского, С.М. Некрашевича, М.К. Любавского, П.А. Расторгуева, Д.Н. Егорова, но и об этом составитель не счел нужным нигде упомянуть.

Для удобства пользования сборником сведения об упомянутых лицах следовало бы давать не в подстрочных примечаниях, а в именном указателе, которым снабжено издание. Это позволило бы избежать повторения сведений об одних и тех же лицах в разных примечаниях (см., например, примечания 38 и 149, посвященные М.К. Любавскому).

В заключение отметим, что оба рецензируемые издания, при всей их несхожести, объединяет внимание к биографиям ученых и созданию документальной базы для изучения истории науки. Остается пожелать, чтобы Центр славяноведения, которым руководит С.И. Михальченко, продолжил начатую интересную работу.

U. ALTERMATT. *Das Fanal von Sarajevo. Ethnonationalismus in Europa.* Zurich, 1996

У. АЛЬТЕРМАТТ. *Этнонационализм в Европе* / Пер. с немецкого С.В. Базарновой. М., 2000. 367 С.

Урс Альтерматт – сторонник "нации граждан" и "денационализации государства". Именно так может быть обозначена позиция автора книги, которая в оригинале и в переводе имеет несколько отличные названия. Точный перевод звучал бы примерно так: "Путеводная звезда Сараево. Этнонационализм в Европе". Почему название города Сараево помещено Альтерматтом на обложку цюрихского издания книги? "В истории случилось так, – пишет автор, – что из города Сараево в начале и в конце XX века появился предвестник, предупредительный знак. Убийство наследника трона Габсбургов Франца Фердинанда 28 июня 1914 г. ввергло Европу в четырехлетнюю националистическую гражданскую войну, на развалинах которой возник мир государств, который снова должен был разбиться о поднимающийся национализм. В югославской войне 1991–1995 гг. Сараево снова оказалось в центре внимания международной политики (см. подробнее: [1]. – В.М.) и стало негативным символом этнонационалистического бреда. То, что происходило и происходит на Балканах и в других местах, является жесткой радикализацией этнонационального проекта, который в значительной степени определил архитектуру мира европейских государств" [2. С. 318]. Книга, по сути, – попытка ревизии "проекта национального государства" и полемика с этнонационализмом, четкая дефиниция которого, как представляется, в ней отсутствует. Впрочем, Альтерматт и не претендует на окончательность суждений, считая свою книгу историко-политическим эссе, неким эскизом, наброском исследования темы. Книга полемична, и, судя по научному аппарату, автор имеет как множество сторонников, так и противников своего взгляда на изучаемые явления и процессы. Утверждая свой взгляд на проблему, он вступает в спор с историками, антропологами, социологами, философами, этнологами и политологами.

Несколько слов об авторе книги. Урс Альтерматт (р. 1942 г.) в 1976–1977 гг.

занимался научно-исследовательской работой в Центре европейских исследований Гарвардского университета (Кембридж, США); с 1980 г. – профессор современной истории университета г. Фрейбург (Швейцария); преподавал в университетах Кракова (1991), Будапешта (1993), Сараево (1997), Софии (1998), работал в Научном обществе в Будапеште (1994–1995), в Институте науки человека в Вене (2000). Альтерматт – автор работ по современной истории, в том числе по таким проблемам, как политическая система Швейцарии, религия и общество, правый экстремизм и национализм. В той или иной степени все эти вопросы нашли отражение в представляемой читателю книге, состоящей из трех частей, пролога и эпилога. В приложении даны политические карты Центральной и Юго-Восточной Европы 1902, 1921, 1949 и 1993 гг., наглядно демонстрирующие изменения, происшедшие в этой части Европы в течение XX в.

Остановимся, хотя и с разной степенью подробности, на каждой из частей книги. Чрезвычайно важным для понимания позиции автора является ее пролог, озаглавленный "Сараево – это не несчастный случай в европейской истории". "Этнонационалистический бред не нов, – считает автор. – В Европе с XIX века прогрессирует процесс этнизации". "Апартеид" (здесь – раздельное проживание. – В.М.), по словам автора, – принцип, который в XX в. распространяется на Европейский континент. В век массовой коммуникации, интернета и поп-культуры это кажется ему парадоксальным. Вместе с тем, он констатирует, что "чем больше выравниваются различные европейские страны в техническом и экономическом отношении, тем сильнее многие люди ощущают угрозу своей культурной идентичности и испытывают потребность в том, чтобы каким-либо образом отличаться друг от друга"; поднимается "мятеж против глобализации", строятся "этнонационалистические укрепления" [2. С. 11].

Одной из основных причин варварских катастроф XX в., по мнению автора, был этнонационалистический бред, который, как приступ болезни, много раз охватывал Европу. "В конце нынешнего столетия части континента пережили новые приступы этого недуга. Крушение коммунизма в Восточной Европе вновь с небывалой силой поставило национальный вопрос на повестку дня европейских конференций. В Западной Европе общество захлестывают волны ксенофобии, антисемитизма и расизма" [2. С. 13]. Через всю книгу красной нитью проходят два тезиса. Первый: Европа вовсе не преодолела наступление национализма, модель территориально ограниченного национального государства западного образца превзошла в экономическом и военном отношении все другие модели организации общества. После крушения СССР – последней европейской многонациональной империи – национальное государство окончательно победило и в Восточной Европе. В 1920 г. на политической карте Европы было 33 суверенных государства, в 1945 г. – 31, 1955 – 42, а в 1995 г. уже 53. После распада Советского Союза количество государств в Европе увеличилось примерно на одну треть. Окончание "холодной войны" открыло в Европе "ящик Пандоры", из которого с тех пор появляются самые разные виды национализма. Восточная и Западная Европа отличаются друг от друга лишь тем, что находятся на разных этапах модернизации, но и в этом процессе образование национального государства является центральным моментом: "Национализм снова пробуждается в качестве и созидательной, и разрушительной силы истории после некоей фазы латентного состояния и заново формирует геополитическую карту Европы" [2. С. 15]. Альтерматт полагает: "Национализм – явление, сопровождающее модернизацию, которое переживает каждое общество на пути к современности" [2. С. 15]. Посредством эмоциональной нагрузки он "образует некую политическую интеграционную религию в условиях секуляризованного общества" [2. С. 15].

Второй из проводимых в книге тезисов: "Призрак бродит по Европе, призрак этнизации политики и общества. Очередной всплеск этнонационализма связан с модернизацией, которая в конце XX века характеризуется небывалой мобильностью и миграцией и ускоряет развитие поликультурности общества. В качестве ответной реакции на этот процесс и распространяется этнонационализм, который, в свою очередь, обращается против универсализма" [2. С. 16].

Далее автор рассматривает существовав-

шие в европейской истории модели "перехода от культурного многообразия к политическому обществу": различные типы многонациональных империй (от Римской до Габсбургов), тип бинационального или тринационального государства, тип классического национального государства западного образца, наконец, иммиграционное общество (подобное США), которое "национализирует только политические права граждан и явно признает культурную множественность" [2. С. 19]. В своем подходе к проблеме Альтерматт исходит из трех постулатов: во-первых, "гражданское общество в Европе должно быть сконструировано на основе индивидуального права гражданина, а не коллективного права группы"; во-вторых, "международный правовой порядок исходит из разделения на государства, а не на народы" ("примат государства"); в-третьих, только многократная идентичность людей "может связать друг с другом политическую и культурную лояльности" [2. С. 20].

В книге, по словам автора, в значительной степени отражается поликультурный опыт Швейцарии и Восточной Европы. Его накоплению способствовали поездки Альтерматта в Вену, Прагу, Брно, Братиславу, Познань, Краков, Загреб и Клуж. Не рассматривая швейцарскую модель, как "предмет экспорта", автор все же склонен поддержать философа Карла Ясперса, который сказал, что "Европа стоит перед выбором: либо пойти по пути Балкан, либо – по пути Швейцарии". «Нация, этния (термин автора. – В.М.) и гражданство образуют триаду, которая все в большей степени занимает мысли европейцев на Западе и Востоке, – пишет Альтерматт. – Это и является исходным пунктом данного эссе, которое я понимаю как речь в защиту нации граждан, как лозунг "Я обвиняю" ("J'accuse"), как протест против этнизации политики» [2. С. 21].

К сожалению, рамки обзора не позволяют подробно остановиться на трех основных частях книги, в которых развернуты доказательства защищаемой автором концепции. Поэтому, чтобы привлечь внимание читателя, лишь раскрыем их содержание. Первая часть – "Временные зоны и нации в Европе" – включает два параграфа: 1. Нация – что это такое на самом деле?; 2. От национального государства к государственной нации. В первом из них автор, в частности, говорит о "Вавилоне понятий", дает обзор дефиниций, раскрывает толкования: государственная нация и культурная нация, пытается ответить на вопросы, существует ли восточный национализм, что такое

этническая и является ли нация этнией, признанной международным правом, рассматривает соотношение понятий "нация", "этническая", "национальность", "народ", "народность". ("Будем честными: трудно понять, в чем различие между этнией и нацией. Дефиниции в значительной степени являются произвольными и зависят от их автора" [2. С. 66]). Во втором параграфе Альтерматт описывает четыре временные зоны Европы и пять периодов образования национальных государств, которое взаимосвязано с образованием наций, конкретно – говорит о Венгрии и Трансильвании, о Чехословакии, геноциде армян, более подробно раскрывает понятие "нация граждан". "Этнонационализм исходит из утопии, – утверждает автор, – что государства должны приспособляться к нациям. Людей делят на народы или нации и дают им возможность создать свои собственные государства. Этот принцип в XX веке принес Европе ужасные беды ... После обеих мировых войн подобной этнонациональной модели отдавали предпочтение власти, отвечающие за порядок. Так как в Центральной и Восточной Европе преобладало этнически смешанное население, то эта доктрина привела к переселению или изгнанию целых народов по национальному или религиозному признаку. Обоснованием этого служил аргумент, что тем самым будет создан или сохранен мир в регионе. От новых, возникающих проблем меньшинств, как правило, уходили, прикрываясь государственными соображениями" [2. С. 93]. Альтерматт выражает свое отношение к принципу права наций на самоопределение, называя его фикцией. "Если последовательно применять право на самоопределение, – говорит он, – то следствием станет бесконечный распад государств с переселениями и изгнаниями. Цюрихский историк Йорг Фишер поэтому не без основания называет право наций на самоопределение опиумом для народов" [2. С. 104]. Всестороннее исследуя проблему, швейцарский профессор приходит к выводу: "После Первой мировой войны была сделана попытка заново создать геополитическую карту Европы, используя принцип национальностей. Однако этнонациональный принцип не оправдал себя, новые национальные государства в Центральной Европе были частично такими же многонациональными, как и предшествующие империи. Что изменилось, так это размер государств. Прогрессирующее национализирование привело к дроблению, которое часто называли балканизацией ... При этом, как и бывшие империи, малые государства так же цинично

обходились со своими народностями, представляющими собой меньшинства ... Этнонационализм оказался тушиком. Сейчас мы знаем, что попытка территориально-государственной организации Европы по национальному принципу ведет к перманентному саморазрушению. В Восточной Европе конец этнонациональной балканизации еще не виден" [2. С. 118–119].

Вторая часть книги, носящая название "Этнонационализм – европейское зло", состоит из трех параграфов: 1. "Тайное возвращение святого", где говорится о возвращении религии в политику, прослеживается связь между национализмом и религией, отмечается замедление процесса секуляризации в конце XX в.; 2. "Битва языков" ("В странах бывшего Восточного блока проснулись этнолингвистические силы, которые были как будто заморожены при господстве советского коммунизма... Народы Восточной Европы возвращаются к этнонационализму. Как и их предшественники на Западе, они ориентируются на культурно-национальный принцип и объявляют язык и этнию основой нового национального государства" [2. С. 307]); 3. "Этнизация общества и политика". "Более мелкие этнии, – пишет Альтерматт, – требуют государственного суверенитета. После долгого периода нивелирующего коммунистического тоталитаризма нация и религия оказываются самыми мощными силами, позволяющими создать идентичность... В Восточной Европе люди обращаются к истории и прошлому и ищут там новую опору. Аналогично западноевропейцам XIX века восточноевропейцы после ужасного опыта тоталитарного господства видят в нации сосуд для реализации гражданской свободы. Если не учитывать балканскую войну (вспомним, что книга была издана в 1996 г. – *В.М.*), то новая фаза национализирования Восточной Европы протекала удивительно мирно. Прибалтийские народы, чехи и словаки, словенцы, хорваты и македонцы, украинцы, молдаване и белорусы добились создания своих национальных государств мирным путем. Это факт, на который мало обращают внимания" [2. С. 217]. Особо касается автор политики в отношении миграционных меньшинств, которые стали своеобразными "козлами отпущения" в поневоле принимающих их обществах, охваченных огромным пожаром ксенофобии. «Для объяснения своих фрустраций и проблем люди ищут "козлов отпущения", которых они находят в иных, в первую очередь в иностранцах», – считает автор. Отсюда – вспышка правого экстремизма: правопопу-

листским и правоэкстремистским партиям "удалось вырваться из того политического гетто, в которое они были вытеснены благодаря антифашистскому согласию западно-европейского общества в период с 1945 по 1975 гг." [2. С. 222–223]. Там, где этничность связывается с национализмом, возникает взрывчатая смесь, которую автор и называет этнонационализмом.

Полностью посвящена общеевропейским проблемам третья часть книги, озаглавленная "Европа, ах какая Европа!". В первом параграфе – "Западная Европа в плену популизма" – автор касается истории возникновения и деятельности правопопулистских партий после 1945 г., описывает десять признаков популистского синдрома. Возникновение популизма Альтерматт связывает, в первую очередь, с модернизационными сдвигами второй половины XX в. У широких слоев населения, по его мнению, в результате быстрого модернизационного толчка возникают неуверенность, страх и напряжение. Именно "проигравшие от модернизации" оказываются жертвами популизма, характерного для эпохи перемен. "Популизм – это политическая стратегия консолидации распадающегося на части государства", – считает автор [2. С. 253]. Во втором параграфе – "Антиевропейский эффект" – рассматриваются вопросы, связанные с формированием и деятельностью Европейского Союза в 1972–1995 гг., говорится о страхе потери национальной независимости, нарастающем скепсисе по отношению к объединенной Европе. В третьем параграфе – "Европейская нация не существует" – автор касается таких вопросов, как границы Европы, а также понятий "Центральная Европа" и "Восточная Европа". Понятие "Восточная Европа", подчеркивает Альтерматт, имело политическое значение

и в ряде случаев вступало в противоречие с географической реальностью. «Осенью 1994 г. Государственный департамент США заменил понятие "Восточная Европа" понятием "Центральная Европа". Тем самым американцы учли политические изменения, происшедшие после распада Советского Союза. При этом для них Центральная Европа, также как и Восточная Европа, мыслится без России», – пишет автор [2. С. 287, 293].

В заключении Альтерматт в форме тезисов обобщает некоторые результаты своего исследования.

Книга, предназначенная, думается, в первую очередь для специалистов, занимающихся национальным вопросом, не может не привлечь внимания также всех тех, кто интересуется процессами, происходящими ныне в Европе. Точка зрения автора, естественно, встретит как возражения, так и поддержку. Но в том и состоит ее значение – будоражить умы и заставлять размышлять над поставленной проблемой. Предмет исследования сложен, а язык автора труднофигически научен. С этим связаны трудности перевода книги на русский язык, и удивительно, что она не имела научного редактора. В этом случае восприятие текста российским читателем, вероятно, было бы облегчено.

© 2001 г. В. Марьина

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Никифоров К.В. Между Кремлем и Республикой Сербской. "Боснийский кризис: завершающий этап". 1990 г. М., 1999.
2. Альтерматт У. Этнонационализм в Европе / Пер. с немецкого С.В. Базарновой. М., 2000.

Język a tożsamość na pograniczu kultur / Pod red. E. Smułkowej i A. Engelking. Białystok, 2000. 257 S. (=Prace Katedry Kultury Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku. 1.

Язык и национальная идентичность на пограничье культур

Рецензируемый сборник, вышедший под редакцией профессора Кафедры общего языкознания и балтийских языков в Варшавском университете и профессора Кафедры белорусской культуры в Белостокском университете, исследовательницы белорусского языка, диалектных и социолингвистической проблем польско-белорусско-литовских кон-

тактов Э. Смулковской и первого посла Польши в Республике Беларусь (1992–1996), ныне работающей на Кафедре белорусской культуры Белорусского университета и исследующей белорусско-польское и белорусско-литовское пограничье в аспектах языка, религии, культуры, национальной идентичности и взаимоотношений народов А. Энге-

ллинг, составили статьи языковедов, историков, социологов, этнографов, культурологов Польши и Белоруссии, написанные на основе докладов на конференции "Язык и национальная идентичность на пограничье культур", состоявшейся в Белостоке осенью 1998 г. Конференцию организовала Кафедра белорусской культуры, за год до того открытая в Белостокском университете. Сборник стал первым томом в издательской серии, инициированной кафедрой при финансовой поддержке Комитета научных исследований и Отдела полонистики Варшавского университета. Таким образом, книга представляет и отчасти воплощает результаты трех стартовых и взаимосвязанных событий: открытие кафедры, ее первая конференция, новая серия славистических публикаций. Вместе с тем сборник научных статей, значительная часть которых посвящена белорусской и белорусско-польской проблематике, отнюдь не является первой ласточкой подобных исследований в Польше, и это подчеркивает посвящение книги: памяти профессора Антонины Обрембской-Яблоньской, одному из организаторов Кафедры белорусской филологии в Варшавском университете, возглавлявшей ее в 1956–1972 гг.

Земля нынешнего Белостокского воеводства, где издревле существовали поселения белорусов и поляков, за свою историю бывала в составе разных государств: с конца XIII в. и до последнего раздела Речи Посполитой (1795) – Великого княжества Литовского (при этом город Белосток после Люблинской унии 1569 г. отошел к Королевству Польскому), затем Пруссии, с 1807 по 1921 г. – России, между двумя мировыми войнами – Польши, в 1939 г. – БССР, после немецкой оккупации – вновь в составе Польши.

Создание Кафедры белорусской культуры в Белостокском университете – это очередной (в послевоенной истории) шаг польских государственных научно-образовательных и общественных институций, направленный на поддержание самобытности православного белорусского населения края. Мотивы такой политики бывали разные. В первые послевоенные годы открытие белорусских школ и подготовка учителей-белорусов в Белостокском и Люблинском воеводствах отвечали довоенной программе Коммунистической партии Западной Белоруссии, существенным компонентом которой была борьба за свободное развитие белорусов в Польше. В постсталинский период годы либерализации и общественного подъема также бывали отмечены инициа-

тивами в поддержку белорусской культуры в Польше. Так, в 1956 г. создается Белорусское общественно-культурное товарищество; оно налаживает выпуск газеты "Ніва" и ежегодника "Беларускі каляндар".

В современной Польше поддержка польских белорусов приобретает важное внешнеполитическое значение, важное как для Запада, так и для Востока. Глядя на Запад, Польша стремится отвечать западным цивилизационным и гуманитарным стандартам, в число которых входит действенная поддержка национальных меньшинств в целях общего гражданского мира. Что касается восточных соседей Польши, то ее поддержка польских белорусов, как и внимание университетских гуманитариев к белорусской теме, могут быть восприняты поразному: белорусская интеллигенция может констатировать (в который раз), что в Польше интерес к белорусской культуре выше, чем в России; российские государственники если и заметят подобное движение, то увидят в нем факты польской "мягкой" экспансии на Восток. К сожалению, о русских гуманитариях в данном случае нам говорить трудно.

Проблематика сборника сосредоточена вокруг этносоциальных, культурно-религиозных и языковых проблем разных по географической протяженности ареалов, каждый из которых – "пограничье", т.е. зона перехода в широком, в том числе экзистенциальном смысле – периферийности и двойственности, преграды и моста, различий и взаимной похожести того, что находится по обе стороны от "межграницы". Эти ареалы, во-первых, Белосток и Белостокское воеводство – как часть польско-белорусского пограничья; во-вторых, это Белоруссия – как земля и двуязычный народ между Россией и Польшей и по соседству с Литвой и Украиной; в-третьих, это разнообразные ситуации этноязыкового и культурного пограничья (межславянского и славянского-неславянского), связанного с контактом народов и культур в разных землях – от Буковины и лужицких сербов до кашубов, мазуров и даже поляков в Казахстане – в условиях исторических перемен, включая новые государственные границы.

Хронологические рамки тематики сборника широки: от времени формирования белорусского этноса и Великого княжества Литовского (статья "К вопросу об этническом и государственном сознании в средневековой Беларуси" гродненского историка А. Кравцевича и "Польский язык и поляки в исторических границах Великого княжества Литовского" И. Марыньяковой [Институт

славистики ПАН]) до результатов полевого изучения сегодняшней жизни в деревнях белорусско-литовского и польско-литовского пограничья (исследования А. Энгелкинг и Н. Колис-Биргель [Варшавский университет]), анкетирования поляков, сейчас живущих в Белоруссии, на Украине, в Казахстане и Румынии (статья социолога А. Садовского из Белостока) или опроса студентов и учителей на западном пограничье Белоруссии (исследование культуролога С. Яцкевича из Бреста). Вопросы о причинах ныне наблюдаемых явлений закономерно отодвигают хронологические границы сборника в глубь времен – к XIV в., когда складывались особенности кашубского этнолекта (статья "Язык и национальная идентичность: кашубский случай" Г. Поповской-Тоборской из Института славистики РАН), к XVI в. (статья "Проблема двуязычия в исторических произведениях Великого княжества Литовского в эпоху Ренессанса и барокко" А. Семянчук, историка из Гродненского университета) или к XVIII–XIX вв. (статья "От многоязычия к общности" К. Фелешко, языковеда из Ополя) – ко времени, когда Буковина, в результате миграций, включая организованные австрийскими властями переселения, становилась едва ли не самым пестрым ареалом Восточной Европы (в этнолингвоконфессиональном плане). (До первой мировой войны в Буковине было девять основных вероисповеданий, в свою очередь разделявшихся на более дробные номинации; S. 143.)

Основной вопрос, на который авторы рецензируемой книги стремятся ответить, состоит в следующем: какое из социальных измерений человека является главным для создания и сохранения этнонационального тождества (идентичности) народа. Историк Е. Миронович, знаток края и польско-белорусских отношений, редактор выходящих в Белостоке "Белорусских исторических записок", в статье "Этническое самосознание православных Белосточчины" приходит к выводу о том, что язык здесь все более утрачивает свое этноидентифицирующее значение: для белорусов названной территории "свой", "близкий" – это православный (S. 52). По многолетним наблюдениям автора, православные белорусы здесь сохраняют особую ментальность: они по-прежнему принадлежат русско-византийскому культурному кругу. У них иное, нежели у поляков-католиков, отношение к современной польской "народной мифологии": например, они равнодушны к именам Войтылы, Пилсудского, Валенсы, зато у многих из них (особенно у людей старшего поко-

ления) большим моральным авторитетом пользуется Александр Лукашенко. Называя себя *православными белорусами*, они могут не считать белорусским, "своим" все, что находится за границами православия, например таких политиков, как С. Шушкевич или З. Позняк. Православный белорус в Польше безразличен к "этносу польскому", однако его беспокоят опасения, что в его "русской религии" кто-то может усмотреть антагонизм польскому началу или даже несовместимость православного человека и польского общества (S. 54).

В статье Е. Мироновича хорошо показано, насколько смешаны в народном сознании те "димензии", которые исследователи стремятся развести: вероисповедание, язык, этничность, гражданство. Это смешение вошло в язык (ср. обиходные клише вроде *русская пасха* и *польская пасха*) и его приходится учитывать при интерпретации лексики самоопределения: например, что означает *православный поляк* (так в 1983–1984 гг. определили себя 22% православных жителей Белостокского воеводства), кто выбирает классическое белорусское *тутэйшыя* и что стоит за уменьшением позиции *русский* (31,5% православных жителей воеводства в 1983–1984 гг. и 10% в 1995 г.) – уменьшение числа православных или более точное словоупотребление респондентов.

К выводу о том, что вероисповедание создает самую прочную основу для национальной идентичности, приходят и исследователи, изучавшие самосознание поляков в иноязычном окружении: на чужбине (дальней – например, Казахстан, или менее отдаленной – Румыния, Украина, Белоруссия), или на земле, "вдруг" ставшей заграничной. Последний случай, такой нередкий, в том числе и в новейшей истории, представлен в социолингвистическом очерке Э. Голаховской (Институт славистики ПАН) о ситуации в Тарноруде – подольском селе, расположенном по обоим берегам реки Збруч. По Рижскому договору (1921), граница между Польшей и советской Украиной проходила как раз по Збручу. После войны граница ушла далеко на запад; в селе стал преобладать украинский язык, не было ни польской школы, ни польского радио или газеты. Впрочем, по воскресеньям транслировалась месса из Варшавского костела св. Креста. Тарнорудские католики собирались по домам, потому что ближайший к селу костел в Тернополе в 1951–1989 гг. не действовал, и молились по-польски. Понят-

но, что дольше всего в Тарноруде польский язык сохранялся благодаря костелу и в костеле. Впрочем, эти же люди после литургии и молитвы переходили на язык обыденной жизни – украинский.

Однако есть ситуации, в которых профессиональная принадлежность человека отнюдь не предопределяет его национальное самосознание, и в сборнике об этом пишется очень интересно. К. Шчесьняк (Гданьский университет) в статье "Мазуры как пограничное сообщество" показывает, что старые присловья, вроде "*Prawdziwy Polak to katolik*" ("Истинный поляк – католик"), не верны на Мазурах, потому что мазуры определялись именно как *Polacy ewangelickiego wyznania* (поляки евангелического вероисповедания). В национальном определении мазуров бывало так, что вопрос ставился далеко не академически: "В апреле 1949 г. в Мазурском округе Ольштынского воеводства была объявлена регистрация поляков местного происхождения, и старосты и войты в поселковых комитетах должны решить, является ли поляк, который разговаривает по-немецки, поляком [...] и как быть с польским крестьянином, у которого польское имя и который говорит по-польски, но на вопрос о национальности (*Kim jest?*) отвечает: *Niemcem*" (S. 210).

Что касается "кашубского случая", то он еще раз убеждает, что языкового своеобразия, в том числе значительного (как указывает Г. Поповска-Таборска) поляк из центральной Польши и поляк, говорящий на северокашубском диалекте, не поймут друг друга (S. 171), недостаточно для формирования отдельного этноса (нации). Самосознание кашубов, несмотря на лингво-культурную специфику и групповую идентификацию, остается в иных плоскостях, нежели этническое обособление. Для кашубской ментальности по-прежнему релевантна формула 1880-х годов: "*Nie ma Kaszub bez Polonii a bez Kaszub Polsi*" ("Нет Кашубии без Полонии, а без Кашубии нет Польши") (S. 175).

Бытует мнение, что этноязыковое пограничье обостряет национальное чувство и усиливает обособленность этнических групп, живущих в зонах контакта. Между тем А. Энгелкинг, наблюдая во время экспедиции Начскую парафию (оказавшуюся после делимитации границ в 1990-е годы разделенной между Белоруссией и Литвой), с удивлением констатирует, что местные жители с трудом и неохотно определяют свою этничность и что они практически безразличны к национальным отношениям.

Автор задается вопросом о причинах этого равнодушия: что это – след советского интернационализма или эхо совместной истории народов в Великом княжестве Литовском? Думаю, дело проще: исследователь наблюдал простых людей, работающих на земле и далеких от национальных исканий. Национальная идея не волнует крестьян, рабочих и крупную буржуазию; национальная идея – это любимое дитя интеллигенции, близкой к "среднему классу", причем интеллигенции позднего времени (т.е. зачастую безрелигиозной).

Авторы, пишущие о Белоруссии, более всего озабочены судьбой белорусского языка. Получаемая ими картина безотраднa, почти так же, как "здоровый прагматизм" серболужицкого народа по отношению к серболужицким языкам (о чем говорится в статье Е. Жетельской-Фелешко). Однако есть кардинальная разница в национальном "самочувствии" серболужицкого меньшинства в Германии и белорусского большинства на его коренной территории: у белорусского народа есть своя страна и ее государственный суверенитет. По данным переписи 1999 г., в Белоруссии преобладает самоопределение граждан на национально-государственной основе: 81% жителей страны назвали себя белорусами и 73% считали белорусский родным языком [1]. Таково с а м о с о з н а н и е граждан Белоруссии, и это реальность именно их сознания, их о т н о ш е н и я к стране.

На практике, и это вторая реальность, белорусы, включая профессиональную белорусскую культуру, давно и глубоко двуязычны. По данным переписи 1999 г., только 41,3% этнических белорусов назвали белорусский тем языком, на котором они обычно разговаривают дома. (Среди польского населения Республики Беларусь процент людей, назвавших белорусский языком домашнего общения, оказался выше – 57,6%.) Большинство жителей Белоруссии (62,8%) указали, что дома они говорят порусски. "Вне дома" также преобладает русский язык. Что касается белорусского, то литературный белорусский используется шире и больше в сферах культуры и образования, нежели в повседневном общении. Для национально ангажированной белорусской интеллигенции белорусский язык – это не столько средство общения, сколько символ национального достоинства и суверенитета.

"Белорусскость" в республике создается не языковой практикой граждан. Жизнь в отдельном государстве – вот уже десять лет со своими валютой, законами, границами

и даже своими новыми праздниками – становится главным фактором национальной самоидентификации белорусов. Все чаще в Белоруссии слова *мы, наши* означают не "мы вместе с Россией/СССР", как было раньше, но "мы сами", "мы отдельно от России", "мы в отличие от России".

Тридцать небольших статей, составивших рецензируемый сборник, принадлежат нескольким жанрам. Большинство работ содержат результаты полевых и/или камеральных исследований; в ряде публикаций обсуждаются теории и термины социо- и этнолингвистики; есть работы философско-эссеистического плана; представлен, кроме того, и такой редкий, но, по-моему, емкий и потому выигрышный жанр, как биография человека или история земли (села, региона), в чьих судьбах пластично выразились этноязыковые проблемы края. В этом жанре написаны статья К. Щечыняк – о судьбах трех человек в истории мазуров, статьи Э. Голаховской о Тарноруде над Збручем и К. Фелешко о Буковине.

В теоретических работах сборника обсуждаются категории, релевантные для белорусской ситуации (статья Э. Смукловой "Двуязычность по-белорусски: билингвизм, диглоссия или что-то еще?"), прогнозы развития языковых ситуаций и даже рекомендации субъектам языковой политики – в статьях минских профессоров Г. Цыхуна

("Языковая самоидентификация в свете эколингвистики"), А. Михневича ("О возможности программирования культурно-языкового развития нации"), В. Салеева ("Язык и ментальность этноса на пограничье культуры").

Большинство статей снабжено библиографией вопроса. Кроме того, в книге помещены материалы дискуссии во время конференции и сведения об авторах, включая библиографию их основных работ. К сожалению, корректорская сторона издания существенно ниже польских стандартов качества.

Тематическая широта, социально-культурная и лингвистическая актуальность книги в сочетании с высоким уровнем ряда статей, написанных ведущими в славистике специалистами в своих дисциплинах, делают первый том трудов Белостокской кафедры белорусской культуры изданием информационно емким и интересным для гуманитарев разных профилей. Ведь культурное пограничье – повсюду.

© 2001 г. *Н.Б. Мечковская*

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Население Республики Беларусь: Итоги переписи населения Республики Беларусь. Статистический сборник. Минск, 2000.



Юбилей Виктории Сливовской

Профессор Виктория Сливовская – один из самых известных и уважаемых в нашей стране польских историков. Причин тому несколько. Прежде всего – многочисленные и значительные ее исследования по истории России, руководство крупными научными проектами, а также теснейшая связь с Россией – как вехами собственной биографии, так и благодаря глубокому проникновению в русский язык и культуру. Отсчет надо, наверное, вести с лет учебы в Ленинградском педагогическом институте. Изучение России для В. Сливовской, можно сказать, семейное дело: муж, профессор Р. Сливовский, – крупный специалист по русской литературе, многие научные проекты у них совместные. И, конечно, немалую роль сыграли присущие В. Сливовской человеческие качества: дар сотрудничать, помогать, дружить.

Практически вся профессиональная деятельность ученого связана с Институтом истории Польской академии наук. Занятия в аспирантском семинаре крупнейшего знатока Польши XIX в. С. Кеневича, а затем продолжительная работа вместе с ним послужили великолепной школой, значение которой В. Сливовская неизменно подчеркивает – и в личном общении, и в печати. Работа с Кеневичем привила ей бережное отношение к источнику, дала знания и навыки в области археографии, в целом способствовала формированию особого отношения к делу и миссии историка (см.: [1]).

Свой путь исследователя В. Сливовская начинала с работ по истории русского общественного движения середины XIX в. Одна за другой последовали четыре монографии: о петрашевцах; об эпохе Николая I; о современной ей русской политической эмиграции; о жизни и идеях А.И. Герцена (последняя – совместно с Р. Сливовским). Особенно хотелось бы отметить монографию В. Сливовской "В кругу предшественников Герцена", которая познакомила читателей со многими неизвестными страницами прошлого и не утратила значения по сей день.

Книги 1960-х – начала 1970-х годов выдвинули В. Сливовскую в ряды ведущих польских специалистов по истории России XIX в. Собственно, слово "ряды" здесь – явное преувеличение, ибо исследователи, профессионально владевшие данной проблематикой, те, для кого Россия гораздо больше, чем только контекст национальной истории, считались тогда в Польше на единицы. Да и традиция изучения российской истории была не слишком богата. Вместе с тем, именно эта область находилась под жестким контролем. Как вспоминала много лет спустя В. Сливовская, "особое внимание обращалось как раз на все то, что касалось России и польско-русских отношений" (см.: [2. S. 226]). Постоянное общение с цензурой выработало специальные приемы, позволявшие едва ли не в большинстве случаев одерживать верх над системой.

Длительное время продолжалось плодотворное сотрудничество В. Сливовской с И.С. Миллером и В.А. Дьяковым, сначала в издании документов и материалов восстания 1863 г., а затем в подготовке публикаторской серии, посвященной польской конспирации трех предшествующих десятилетий. С В.А. Дьяковым у нее было очень много общего: издание источников, работа в архивах, биографистика и особый формат последней – составление биографических словарей, наконец, польско-сибирская тема. Только этот творческий тандем был в состоянии обеспечить выход в свет фундаментального словаря участников польского национально-освободительного движения [3]. Велика его заслуга в том, что хорошо известная всем полонистам "зеленая серия" сумела выстоять в сложнейшие для советско-польского сотрудничества времена "польского кризиса".

С 1980-х годов главным предметом внимания В. Сливовской становится польская сибириада XIX в. Надо сказать, что в Польше эта литература всегда была отягощена мифами, стереотипами, неточностями, пробелами и следами разноплановых политических пристрастий. Заниматься этой темой всерьез можно только при условии сплошного выявления во многих архивохранилищах фактического материала о десятках тысяч человек. Именно по такому пути пошла В. Сливовская. В ходе работы она проявила замечательные организаторские способности и волю, сумев сплотить вокруг дела, в успех которого поначалу верили далеко не все, польских исследователей разных поколений, а также большое число заграничных помощников. Одной из первых в Польше В. Сливовская решительно восстала против ставшего популярным отождествления царской ссылки со сталинскими лагерями. Многолетний напряженный труд увенчался изданием биографического словаря "Польские ссылки в Российской империи в первой половине XIX века" [4]. Ничего даже близко похожего по дерзости замысла и тщательности исполнения польская наука до сих пор не знала. И это лишь первый этап реализации проекта.

Параллельно с работой над словарем велась подготовка к изданию мемуаров поляков, сосланных в Сибирь и Казахстан не только в XIX в., но и в годы Второй мировой войны. Назовем выпущенную совместно с Э. Качиньской и А. Брус книгу о Сибири, большую часть которой занимает антология польской мемуаристики, а также вышедшие отдельным томом записки В. Станишевского [5].

Совместно с Р. Сливовским В. Сливовская перевела на польский язык большое число книг авторов из России и представителей Русского Зарубежья – историков, мемуаристов, беллетристов. Среди них Ф. Сологуб, А. Платонов, Н. Берберова, Н. Эйдельман и др.

Как никто другой из своих коллег, В. Сливовская поддерживает деловые и человеческие контакты со многими российскими, украинскими и белорусскими учеными, причем не только столочными. В России она посетила немало самых дальних мест, включая Якутск. Дом Виктории и Ренэ Сливовских в Залесье под Варшавой (он же научная библиотека и архив) всегда гостеприимно распахнут для друзей из России.

Глубоко закономерно, что действительный член Польской академии наук профессор Ю. Бардах именно В. Сливовской передал в 1998 г. дела по руководству польской частью Комиссии историков России и Польши, а журнал "Przegląd Wschodni" присудил ей в 2001 г. премию за совокупность работ, посвященных истории польско-российских отношений.

Требовательная к себе и людям, принципиальная в вопросах научной этики, она в то же время отзывчивый и душевный человек. Разговаривая с ней о делах, чувствуешь, как недопустимо мало работаешь ты сам. Как историк В. Сливовская никогда не гналась за модой и не искала легких путей, делала то, что и как считала нужным. Ее научное творчество отличается цельностью и органичностью: каждый последующий шаг вытекает из предыдущего. При этом исследования историка вполне созвучны современным научным приоритетам и общественному интересу.

В год, когда очередную конференцию Комиссии историков России и Польши в Москве решено посвятить истории научных контактов между учеными двух стран, особо уместно вспомнить, что профессор Виктория Сливовская сделала для развития этих контактов. Как автор образцовых исследований, как публикатор источников, как организатор науки. Юбилейная дата – 26 июня 2001 г. – повод еще раз отдать дань уважения и признательности польскому коллеге-историку.

© 2001 г. Л.Е. Горизонтов

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Śliwowska W.* Stefan Kieniewicz – edytor / Przegląd Historyczny. 1993. № 1.
2. Cenzura w PRL. Relacje historyków. Warszawa, 2000.
3. *Djakow W.A., Gałkowski A., Śliwowska W., Zajcew W.M.* Uczestnicy ruchów wolnościowych w latach 1832–1855 (Królestwo Polskie). Przewodnik biograficzny. Wrocław i in., 1990.
4. Zesłańcy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej połowie XIX wieku. Słownik biograficzny. Warszawa, 1998.
5. Zesłanie i katorgia na Syberii w dziejach Polaków 1815–1914. Warszawa, 1992; *Staniszewski W.* Pamiętniki więźnia stanu i zesłańca. Warszawa, 1994; *Śliwowska W.* Syberia w życiu i pamięci Gieysztorów – zesłańców postyczniowych. Wilno – Sybir – Wiatka – Warszawa. Warszawa, 2000.

Новые издания Института славяноведения РАН

В 1998–2001 гг. в Институте славяноведения РАН вышли следующие издания:

- * *Анишаков Ю.П.* Становление Черногорского государства и России (1798–1856 гг.). М., 1998.
- * *Волокитина Т.В.* "Холодная война" и социал-демократия в Восточной Европе. 1944–1948 гг. М., 1998.
- Заборовский Л.В.* Католики, православные, униаты. Проблемы религии в русско-польско-украинских отношениях конца 40-х–80-х гг. XVII в. Документы. Исследования. М., 1998. Ч. 1.
- Мургулия М.П., Шушарин В.П.* Половцы, Грузия, Русь и Венгрия в XII–XIII веках. М., 1998.
- Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в XVII в. М., 1998. Ч. 1.
- Славянская идея: история и современность. М., 1998.
- Славянские литературные языки эпохи национального возрождения. М., 1998.
- Слово и культура. Памяти Н.И. Толстого. М., 1998. Т. II.
- * *Советский Союз и венгерский кризис 1956 г.* Документы. М., 1998.
- Три визита А.Я. Вышинского в Бухарест. 1944–1946. Документы российских архивов. М., 1998.
- * *Февраль 1948 г. Москва и Прага. Взгляд через полвека.* М., 1998.
- * *Центральная Европа в новое и новейшее время.* М., 1998.
- * *Шемякин А.Л.* Идеология Николая Пашича. Формирование и эволюция (1868–1891). М., 1998.
- * *XVIII век: славянские и балканские народы и Россия.* М., 1998.
- * *Ю.И. Венелин в Болгарском возрождении.* М., 1998.
- * *Автопортрет славянина.* М., 1999.
- Авторитарные режимы в Центральной и Восточной Европе (1917–1990-е годы). Центральноевропейские исследования. М., 1999. Вып. 1.
- Васильев М.А.* Язычество восточных славян накануне крещения Руси: Религиозно-мифологическое взаимодействие с иранским миром. Языческая реформа князя Владимира. М., 1999.
- Власть и интеллигенция. Культурная политика в странах Центральной и Восточной Европы. 1920–1950-е годы. М., 1999. Вып. 3.
- * *Восточная Европа между Гитлером и Сталиным. 1939–1941 гг.* М., 1999.
- * *Геннадис. К 70-летию академика Г.Г. Литаврина.* М., 1999.
- Горизонтов Л.Е.* Парадоксы имперской политики: поляки в России и русские в Польше. М., 1999.
- * *Греческая культура в России. XVII–XX вв.* М., 1999.
- * *Дмитриев М.В., Заборовский Л.В., Турилов А.А., Флоря Б.Н.* Брестская уния 1596 г. и общественно-политическая борьба на Украине и в Белоруссии в конце XVI – первой половине XVII в. Ч. II: Брестская уния 1596 г. Исторические последствия события. М., 1999.
- * *Коровицына Н.В.* Среднее поколение в социокультурной динамике Восточной Европы второй половины XX в. М., 1999.
- * *Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л.* Белорусско-украинско-русская православная книжность межвоенной Польши: Исследования и публикации. М., 1999.
- * *Македония: проблемы истории и культуры.* М., 1999.
- Мир звучащий и молчащий. Семиотика звука и речи в традиционной культуре славян. М., 1999.
- * *Польша и Европа в XVIII в.* М., 1999.
- * *Славянские этюды. Сборник к юбилею С.М. Толстой.* М., 1999.
- * *Славянский альманах. 1998.* М., 1999.

Фрейдзон В.И. Нация до национального государства. Историко-социологический очерк Центральной Европы XVIII в. – начала XX в. Дубна, 1999.

* *Аксенова Е.П.* Очерки из истории отечественного славяноведения. 1930-е годы. М., 2000.

* А.С. Пушкин и мир славянской культуры. М., 2000.

Белова О.В. Славянский бестиарий. Словарь названий и символики. М., 2000.

* *Бернштейн С.Б.* Из проблематики диалектологии и лингвогеографии. М., 2000.

Век Екатерины II. Дела балканские. М., 2000.

* *Головачева А.В.* Стереотипные ментальные структуры и лингвистика текста. М., 2000.

* *Задорожник Э.Г.* Социал-демократия в Центральной Европе. М., 2000.

* *Калиганов И.И.* Георгий Новый у восточных славян. М., 2000.

* *Кирилина Л.А.* Словенцы и революция 1848–1849 гг. М., 2000.

* Книга в пространстве культуры. М., 2000.

Лабынцев Ю.А., Шавинская Л.Л. Православная литература белорусов современной Польши.

М., 2000.

* *Маркович Д.Ж.* Разговор с друзьями. М., 2000.

* Международные организации и кризис на Балканах. Документы. М., 2000. Тома I, II.

* *Плотникова А.А.* Словари и народная культура. Очерки славянской лексикографии.

М., 2000.

* Политика и поэтика. Сб. статей. М., 2000.

Поляки и русские в глазах друг друга. М., 2000.

* Поляки и русские. Взаимопонимание и взаимонепонимание. М., 2000.

* Русская и украинская дипломатия в Евразии: 50-е годы XVII века. М., 2000.

Славяно-германские исследования. М., 2000. Т. 1–2.

* Славянские народы: общность истории и культуры. М., 2000.

* *Хаванова О.В.* Нация, отечество, патриотизм в венгерской политической культуре: движение 1790 года. М., 2000.

* Центральная Европа в поисках новой региональной идентичности. М., 2000.

* Из Варшавы: Москва, товарищу Берия. Документы НКВД СССР о польском подполье. 1944–1945 гг. М.-Новосибирск, 2001.

* *Костюшко И.И.* Польское национальное меньшинство в СССР (1920-е годы). М., 2001.

Книги, отмеченные звездочкой, Вы можете приобрести по адресу: 117334, Москва. Ленинский пр-т, 32А, корп. В, Институт славяноведения РАН, комн. 921. Тел. (095) 938-54-66, Гурьева Маргарита Васильевна. Только за наличный расчет.

CONTENTS

ARTICLES

<i>Borisenok E.Yu.</i> (Moscow). The Question of Ukrainization in the Second Half of 1920-ies and Lazar M. Kaganovich	3
<i>Becker R.</i> (Torun). Between the Revolutionary Konservatism and Totalitarism. Dilemma of Evaluation of the Inter-War Euro-Asian Movemen	14
<i>Paradovsky R.</i> (Torun). Methodological and Metaphysical Problems of Euro-Asian Culturology	28
<i>Maryina V.V.</i> (Moscow). Czechoslovakia: from the Multinational to the Binational State. 1944–1948	39

COMMUNICATIONS

<i>Stykalin A.S.</i> (Moscow). The Russians and the Poles: Stereotypes of the Mutual Perception	60
<i>Serapionova E.P.</i> (Moscow). Karel Kramar About Federalism and the Problems of the Future Russian State Structure	77
<i>Aksenova E.P.</i> (Moscow). The Slavophile A.A. Bashmakov About the Crisis of the Slavic Idea	83
<i>Stykalin A.S.</i> (Moscow). The National Question and National Minorities in Eastern Europe. 1944–1948 (the Round Table Materials).....	90
<i>Kartseva Z.I.</i> (Moscow). "Re-Reading" of the National Literature History	106

REVIEW-ARTICLES AND REVIEWS

<i>Goryainov A.N.</i> С.И. Михальченко. Юридический факультет Варшавского Университета 1869–1917 гг. Краткий исторический очерк. Е. Ляцкий. Материалы к биографии / Подготовка текстов и публикация С.И. Михальченко	112
<i>Maryina V.V.</i> U. Altermatt. Das Fanal von Sarajevo. Etnonationalismus in Europa	115
<i>Mechkovskaya N.B.</i> Język a tożsamość na pograniczu kultur	118

PERSONALIA

<i>Gorizontov L.E.</i> Wiktoria Śliwowska's Anniversary	123
New Publications of the Institute for Slavic Studies, RAS	126

Технический редактор *В.М. Пахомова*

Сдано в набор 13.06. 2001	Подписано к печати 06.08.2001	Формат 70 × 100 ¹ / ₁₆		
Офсетная печать	Усл.-печ.л. 10,4	Усл.-кр.-отт. 6,5 тыс.	Уч.-изд.л. 12,0	Бум.л. 4,0
	Тираж 599 экз.	Зак. 2408		

Свидетельство о регистрации № 0110184 от 4 февраля 1993 года
в Министерстве печати и информации Российской Федерации
Учредители: Российская академия наук, Институт славяноведения и балканистики РАН

Адрес издателя: 117997, Москва, Профсоюзная ул., 90
Адрес редакции: 117334, Москва, Ленинский проспект, 32а. Телефон 938-01-20
Отпечатано в ППП "Типография "Наука", 121099, Москва, Шубинский пер., 6
E-mail: vasilyev@FL09.tower.ras.ru
Налоговая льгота – общероссийский классификатор продукции ОК-005-93,
том 2; 952000 – журналы

Глубокоуважаемые читатели!

Ученым, специалистам, преподавателям вузов, аспирантам и студентам великим подспорьем в труде всегда служили и будут служить научные статьи и книги. Помочь им, а также работникам библиотек правильно и оперативно ориентироваться в издательских проектах призван журнал “Научная книга”, с 1998 г. выпускаемый четыре раза в год издательством “Наука”.

Журнал “Научная книга”:

- это достоверный источник информации о сегодняшнем дне российской науки;
- это оперативные и надежные сведения “из первых рук” о публикациях отечественных ученых и специалистов;
- это верный компас в море общеакадемических, региональных и институтских издательских проектов.

Журнал “Научная книга”:

- это профессиональная трибуна издателей, полиграфистов, распространителей научной книги;
- это интересные, часто уникальные материалы из истории издательской деятельности как Российской академии наук, так и книгоиздания страны, а также по актуальным проблемам книговедения;
- это самые последние официальные материалы и нормативные документы, регламентирующие профессиональную деятельность российских издателей, полиграфистов, книгораспространителей.

Журнал “Научная книга”:

- это увлекательный рассказ о рождении и жизни научной книги на всех этапах ее развития: от “чернильницы” автора до полки книжного магазина, библиотеки и до рук ученого, специалиста, любителя научной книги;
- это самая свежая информация о состоявшихся в стране и за рубежом книжных и полиграфических выставках, ярмарках, о презентациях новых интересных изданий;
- это своеобразная “путеводная звезда” в мире научной литературы для ученых, специалистов и всех книголюбов.

Журнал можно выписать по Объединенному каталогу “Пресса России”, т. 1, индекс 26099. Возможно также оформление подписки непосредственно в издательстве “Наука”, тел. (095) 334-74-50.

Отдельные номера журнала можно приобрести в фирме “Наука-Инициатива”, тел. (095) 334-98-59, а также в редакции (117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 90, к. 327, тел./факс (095) 334-75-21).